

ЭРИХ МАРИЯ
РЕМАРК

Три товарища



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Эрих Мария Ремарк

Три товарища

«Издательство АСТ»

1936

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

Ремарк Э.

Три товарища / Э. Ремарк — «Издательство АСТ»,
1936 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-108298-7

Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви... Самый увлекательный в двадцатом столетии роман о дружбе... Самый трагический и пронзительный роман о человеческих отношениях за всю историю двадцатого столетия.

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-17-108298-7

© Ремарк Э., 1936
© Издательство АСТ, 1936

Содержание

I	6
II	16
III	22
IV	30
V	37
VI	45
VII	55
VIII	61
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Эрих Мария Ремарк

Три товарища

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1937
© Перевод. Ю.И. Архипов, наследники, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

* * *

I

Небо, еще не закопченное дымом печных труб, отливало латунной желтизной. Над крышами фабрики оно светилось сильнее. Солнце вот-вот должно было взойти. Я взглянул на часы. Восьми еще нет. Без четверти.

Я открыл ворота и подготовил насос бензоколонки. В это время обычно подъезжают первые машины на заправку. Неожиданно позади меня послышалось какое-то хриплое поскрипывание – будто под землей прокручивали ржавый ворот. Я остановился, прислушался. Потом прошел через двор в мастерскую и тихонько приоткрыл дверь. Там в полутьме маячила какая-то призрачная фигура. Грязноватая белая косынка, синий фартук, толстые шлепанцы, шаркающая метла, килограммов девяносто весу – не иначе как наша уборщица Матильда Штосс.

На какое-то время я застыл, наблюдая. Она двигалась меж радиаторов с грацией бегемота и глухим голосом распевала песенку о верном гусаре. На столе у окна стояли две бутылки коньяка. В одной из них осталось на доньшке. Накануне вечером бутылка была полной. Я забыл запереть ее в шкаф.

– Ай-ай-ай, фрау Штосс, – сказал я.

Пение оборвалось. Метла упала на пол. Блаженная ухмылка потухла.

– Господи Иисусе, – пролепетала Матильда, уставившись на меня красноватыми глазами. – Вот уж не ожидала...

– Понятно. Ну и как коньячок? Понравился?

– Да уж что говорить... но мне как-то не по себе. – Она вытерла губы. – Прямо языка лишилась...

– Ну, это уж слишком. Вы просто пьяны. Пьяны в стельку.

Она с трудом удерживала равновесие. Усики над ее верхней губой подрагивали, а веки хлопали, как у старой совы. Но вот наконец ей удалось совладать с собой, и она решительно шагнула ко мне.

– Слаб человек-то, господин Локамп, сначала я только понюхала, потом отхлебнула чуток – для пищеварения, а тут, тут уж черт меня и попутал. Да и то сказать – гоже ли так вводить бедную женщину в соблазн? Пузырек-то ведь на самом виду...

Я не впервые заставлял ее в таком виде. Она приходила каждое утро часа на два, убирать мастерскую; деньги, в любом количестве, можно было не запирать – она их не трогала, а вот спиртное действовало на нее, как сало на крысу. Я посмотрел бутылку на свет.

– Ну разумеется – коньяк для клиентов вы не тронули. Налегли на тот, что получше, который господин Кестер держит для себя.

Помрачневший было лик Матильды опять озарила ухмылка.

– Что верно – то верно, в таких вещах толк я знаю. Но ведь вы не выдадите меня, господин Локамп? Вдову горемычную?

Я покачал головой:

– Сегодня не выдам.

Она выпростала подоткнутые юбки.

– Ну, тогда мне лучше скрыться. А то придет господин Кестер – такое начнется!..

Я подошел к шкафу и открыл его.

– Матильда!

Она, переваливаясь, поспешила ко мне. Я поднял коричневую четырехгранную бутылку.

Она протестующе замахала руками.

– Это не я! Честное слово! К этой я и не прикасалась!

– Знаю, знаю, – сказал я и налил ей полную стопку. – А пробовали когда-нибудь?

– Еще бы! – облизнулась она. – Ром! Старинный, ямайский!

– Отлично! Вот и выпейте стаканчик!

– Я?! – Она даже отпрянула. – Ну уж это слишком, господин Локамп! Все равно что пустить человека босиком по углям! Старуха Штосс втихаря дует ваш коньячок, а вы ее еще ромом потчуете за это. Да вы просто святой, ей-богу! Нет уж, лучше помереть, чем пойти на такое!

– Ну как знаете, – сказал я и сделал вид, будто собираюсь поставить стаканчик на место.

– Эх, была не была! – Она чуть не вырвала его у меня из рук. – Дают – бери! Даже если незнамо за что дают. Ваше здоровье! А может, у вас день рождения?

– Да, Матильда. Угадали.

– Неужто правда? – Она схватила мою руку и стала трясти ее. – От души поздравляю! Дай вам Бог всего, а главное – тити-мити! – Она вытерла губы. – Нет, вы так растрогали меня, господин Локамп! За это не грех бы и еще одну пропустить. Раз такое дело. Ведь я люблю вас как сына.

– Вот и чудесно.

Я налил ей еще стопку. Она выпила ее залпом и тут же покинула мастерскую, изливая потоки восторгов.

Я убрал бутылку и сел к столу. Сквозь окно на мои руки падал бледный луч солнца. Странная это все же вещь – день рождения, даже если не придаешь ему никакого значения. Тридцать лет... А ведь было время, когда я думал, что и до двадцати-то не доживу – уж слишком далеким это казалось. А потом...

Я вынул из ящика лист почтовой бумаги и занялся арифметикой. Детские годы, школа – где ж это было, когда, да и было ли вообще? Настоящая жизнь началась только в 1916-м. Меня как раз призвали на военную службу; тощий, долговязый, восемнадцатилетний, я бросился наземь и вскакивал по команде усатого фельдфебеля, гонявшего нас по вспаханному полю позади казарм. В один из первых же вечеров в казарму навестить меня приехала моя мать, но ей пришлось прождать больше часа. Я нарушил предписание, укладывая ранец, и должен был в наказание драить толчки в свободное время. Мать хотела помочь мне, но ее не пустили. Она все плакала, а я так устал, что заснул во время свидания.

1917 год. Фландрия. Мы с Миддендорфом купили в буфете бутылочку красного. Собирались отметить. Но не тут-то было. Уже на рассвете англичане накрыли нас ураганным огнем. Днем ранило Кестера. Майер и Детерс погибли под вечер. А к ночи, когда мы решили, что все худшее уже позади, и откупорили бутылку, по траншеям пополз газ. Мы, правда, вовремя напялили противогазы, но у Миддендорфа он оказался дырявый. Когда он это заметил, было уже поздно. Пока срывали с него маску и отыскивали новую, он уже наглотался газа и харкал кровью. Под утро он умер. Лицо его было черно-зеленым, а горло изодрано, он пытался разорвать его ногтями, чтобы глотнуть воздуха.

1918 год. Я в госпитале. Несколько дней как прибыла новая партия раненых. Бумага вместо марли. Ранения тяжелые. Столы. Весь день то въезжали, то выезжали плоские операционные тележки. Нередко они возвращались пустыми. Рядом со мной лежал Йозеф Штолль. У него не было ног, но он еще об этом не знал. Увидеть их было нельзя, потому что на месте ног под одеялом торчал каркас из проволоки. Да он и не поверил бы, потому что чувствовал боль в ногах. Ночью в нашей палате умерли двое. Один из них умирал мучительно долго.

1919 год. Снова дома. Революция. Голод. Непрекращающийся треск пулеметов на улице. Солдаты против солдат. Товарищи против товарищей.

1920 год. Путч. Расстрелян Карл Брегер. Арестованы Кестер и Ленц. Моя мать в больнице. Рак в последней стадии.

1921 год...

Я задумался. И ничего не мог вспомнить. Год будто выпал из памяти. В 1922 году я работал на строительстве дороги в Тюрингии, в 1923-м – заведовал рекламой на фабрике резиновых изделий. Это было во время инфляции. В месяц я получал двести миллионов марок. Деньги выдавали по два раза в день и тут же устраивали на полчаса перерыв – чтобы успеть пробежаться по магазинам и хоть что-нибудь купить до того, как объявят новый курс доллара, после чего деньги обесценивались наполовину.

А что было потом? В последующие годы? Я отложил карандаш. Что толку в этих перечислениях? Все равно всего не упомянуть. И перепуталось все давно. В последний раз я отмечал день рождения в кафе «Интернациональ». Я там целый год играл на пианино для поднятия настроения у клиентов. А потом снова встретил Кестера и Ленца. И вот теперь я здесь, в АРМ, то бишь в «Авторемонтной мастерской Кестера и Ко». «Ко» – это мы с Ленцем, хотя на самом-то деле мастерская принадлежит одному Кестеру. Когда-то он был нашим школьным товарищем, потом командиром нашей роты, позже пилотом, затем какое-то время студентом, потом автогонщиком – пока не купил наконец эту сараюшку. Сперва к нему прибился Ленц, мотавшийся до того несколько лет по Южной Америке, а там и я.

Я вынул из кармана сигарету. Собственно говоря, жаловаться не на что. Живется мне неплохо, работа есть, сил хватает. Пока держусь, нахожусь, как говорится, в добром здравии, только вот лучше поменьше думать обо всем этом. Особенно когда остаешься один. Вечерами. Не то вдруг накатывает прошлое и тарашит на тебя мертвые зенки. Впрочем, на то ведь и существует на свете шнапс.

Заскрипели ворота. Я порвал листок с датами своей жизни и бросил его в корзину. Дверь распахнулась. В проеме обозначилась долговязая, тощая фигура Готфрида Ленца; соломенная грива и нос, явно предназначавшийся кому-то другому.

– Эй, Робби, – завопил он, – кончай жир накапливать! Встань-ка по струнке, твое начальство желает говорить с тобой!

Я поднялся.

– Бог мой, а я-то надеялся, что вы об этом не вспомните. Сжальтесь надо мной, братцы!

– Как бы не так! – Готфрид положил на стол пакет, в котором что-то основательно звякнуло. Вслед за ним вошел Кестер.

Ленц вытянулся передо мной.

– Итак, Робби, ответствуй: кого первого ты встретил сегодня утром?

Я стал припоминать.

– Старуху, которая танцевала.

– Святые угодники! Дурной знак! Однако ж подходит к твоему гороскопу. Я вчера составил. Ты сын Стрельца, следовательно, человек ненадежный, колеблешься, как тростник на ветру, особенно в этом году – из-за подозрительного отклонения Сатурна да еще ущербного Юпитера. А поскольку мы с Отто тебе за отца с матерью, я хочу тебе вручить кое-что для душевной охраны. Итак, прими сей амулет! Он достался мне в незапамятные времена от одной наследницы инков. У нее была голубая кровь, плоскостопие, вши, а также дар провидения. «Белокожий чужестранец, – сказала она мне, – этот амулет носили цари, в нем сила Солнца, Луны и Земли, не говоря уже о малых планетах, дай мне серебряный доллар на выпивку и можешь владеть им». И вот, чтобы не прерывалась цепь счастья, я вручаю его тебе. Он оградит тебя от беды и обратит в бегство немилостивого к тебе Юпитера.

С этими словами Ленц повесил мне на шею небольшую черную фигурку на тонкой цепочке.

– Вот. Это тебе против несчастий, угрожающих свыше. А против несчастий земных – шесть бутылок рома, подарок Отто! Ром, кстати, в два раза старше, чем ты!

Он раскрыл пакет и одну за другой вынул бутылки. В лучах утреннего солнца они светились, как янтарь.

– Зрелище великолепное, – сказал я. – Отто, где ты их раздобыл?

Кестер рассмеялся.

– Было одно хитрое дельце. Долго рассказывать. Лучше признавайся, как ты себя чувствуешь? На все тридцать?

Я отмахнулся.

– На шестнадцать и пятьдесят одновременно. Ничего особенного.

– И это называется ничего особенного? – вскинулся Ленц. – А что может быть лучше? Ведь ты, стало быть, покорило время и живешь за двоих.

Кестер посмотрел на меня.

– Оставь его, Готфрид, – сказал он. – День рождения – такая штука, что жутко угнетает чувство собственного достоинства. Особенно с утра пораньше. Дай ему оклематься.

Ленц прищурился.

– Чем меньше у человека чувства собственного достоинства, тем большего он стоит, Робби. Это тебя утешает хоть немного?

– Нет, – сказал я, – ничуть. Если человек полагает, что чего-то стоит, он уже только памятник самому себе. А это, на мой взгляд, и тяжело, и скучно.

– Он философствует, Отто, – сказал Ленц, – стало быть, он спасен. Роковая минута миновала! Та роковая минута собственного рождения, когда смотришь себе в глаза и понимаешь, какой же ты все-таки жалкий цыпленок. Что ж, теперь мы можем со спокойной душой заняться делами, например, смазать потроха старой развалине «кадиллаку»...

Мы работали, пока не стемнело. Потом умылись, переоделись. Ленц жадно поглядывал на шеренгу бутылок.

– А не свернуть ли нам шею одной из них?

– Пусть решает Робби, – сказал Кестер. – Неприлично, Готфрид, зариться на чужие подарки.

– А заставлять дарителей умирать от жажды прилично? – возразил Ленц, откупоривая бутылку.

Аромат тотчас разлился по всей мастерской.

– Святые угодники, – сказал Готфрид.

Мы все повели носами.

– Фантастика, Отто! В какие поэтические эмпиреи надо вознестись, чтобы подыскать подобающее в таком случае сравнение?

– М-да, даже слишком шикарно для такого сарая! – нашел Ленц. – Знаете что? Давайте махнем куда-нибудь за город и прихватим с собой бутылку на ужин. Выдзем ее на дивном лоне божьей природы!

Блеск!

Мы откатали в сторону «кадиллак», над которым корпели каждый день после обеда. Позади него стояла странная штуковина на колесах. То была гоночная машина Отто Кестера – гордость мастерской.

Этот старый рыдван с высоким кузовом Кестер приобрел как-то на аукционе, и стоил он не больше одного бутерброда. Специалисты, видевшие его тогда, дружно сошлись на том, что это занятный экспонат для музея истории транспорта. Владелец модного магазина и фабрики дамской верхней одежды Больвиз, гонщик-любитель, советовал Отто сделать из него швейную машину. Но Кестер и в ус не дул. Он разобрал машину, как карманные часы, и несколько месяцев подряд пытался над ней до глубокой ночи. И вот однажды вечером он появился в своем автомобиле перед баром, в котором мы обычно сидели. Больвиз чуть не свалился со стула от смеха, как только увидел машину, вид у нее действительно был потешный. Шутки ради он

предложил Отто пари. Он ставил двести марок против двадцати, если Отто на своем драндулете согласится состязаться с его новой гоночной машиной: вся дистанция – десять километров, один километр – фора для Отто. Кестер принял пари. Все хохотали, предвкушая немалое удовольствие. Но Отто пошел дальше – он отклонил фору и с невозмутимым видом предложил повысить ставки до тысячи против тысячи. Ошарашенный Больвиз спросил, не отвезти ли его в психушку. Вместо ответа Отто завел мотор. Они тут же и стартовали, чтобы не откладывать дела в долгий ящик. Больвиз вернулся через полчаса такой обескураженный, будто встретил на дороге морского гада. Ни слова не говоря, он выписал чек, а за ним и второй. Он хотел тут же купить эту машину. Однако Кестер поднял его на смех. Он не отдал бы ее теперь за все золото мира. Но как ни безупречны были скрытые свойства машины, внешний вид ее был ужасен. Для повседневного пользования мы приделали машине самый старомодный кузов, какой только можно было найти; лак на нем потускнел, крылья были в трещинах, а верху было никак не меньше десяти лет. Нам бы, конечно, не составило никакого труда привести машину в боже-ский вид, но у нас был свой резон не делать этого.

Звали машину «Карл». «Карл», призрак шоссе-ных дорог.

«Карл» тащился по шоссе.

– Отто, – сказал я, – приближается жертва.

Позади нас нетерпеливо сигналил тяжелый «бьюик». Он быстро нагонял нас. Вот уже поравнялись радиаторы. Мужчина за рулем небрежно посмотрел на нас и скользнул взглядом по обшарпанному «Карлу». Потом он отвернулся и тут же забыл о нас.

Однако через несколько секунд он обнаружил, что «Карл» все еще идет с ним вровень. Он несколько подобрался, весело взглянул на нас и прибавил газ. Но «Карл» не отставал. Точно маленький юркий терьер рядом с догом, бежал он рядом с похожей на локомотив громадиной, сверкающей никелем и лаком.

Мужчина уже крепче стиснул руль. Он был в полном неведении и насмешливо кривил губы. Сейчас он нам покажет, на что способна карета. Он нажал на акселератор так, что глушитель запел, будто стая жаворонков в летний полдень. Но все напрасно, оторваться ему не удалось. Невзрачный, убогий «Карл» прилепился к нему, словно заколдованный. Мужчина взирал на нас с удивлением. Он не мог понять, как это он, развив скорость свыше ста километров, не в состоянии обогнать допотопный драндулет. Недоверчиво взглянув на спидометр, словно подозревая его в обмане, он дал полный газ.

Теперь обе машины мчались точнехонько рядом по длинному прямому шоссе. Через несколько сот метров показался грузовик, который с грохотом летел нам навстречу. «Бьюик» вынужден был уступить дорогу и пристроиться нам в хвост. Едва он снова поравнялся с «Карлом», как впереди объявился автокатафалк с развевающимися лентами венков, и «бьюику» снова пришлось отступить. Затем горизонт очистился.

Тем временем человек за рулем утратил былое свое высокомерие. Им овладело раздражение, губы были сжаты, корпус подался вперед – гоночная лихорадка делала свое дело, казалось, на карту поставлена его честь, и чтобы спасти ее, нужно было во что бы то ни стало взять верх над этой моськой.

Мы же, напротив, развалились на своих сиденьях с видимым равнодушием. «Бьюик» вовсе не существовал для нас. Кестер как ни в чем не бывало смотрел на дорогу, я поглядывал со скучающим видом по сторонам, а Ленц, хоть и был комок нервов, вынул газету и делал вид, будто читать ее – для него сейчас самое важное дело на свете...

Через несколько минут Кестер подмигнул нам. «Карл» незаметно убавил скорость, и «бьюик» постепенно выдвинулся вперед. Его широкие сверкающие крылья проплыли мимо, а выхлопная труба чихнула нам в лицо голубым дымом. Вот уже «бьюик» вырвался вперед метров на двадцать – и тут, как мы и ожидали, из окна показалось лицо водителя; он ухмылялся, не скрывая триумфа. Он полагал, что уже выиграл.

Но он не ограничился этим. Он решил сполна насладиться реваншем. Он стал жестами приглашать нас догнать его – и делал это с небрежностью человека, не сомневающегося в победе.

– Отто! – взмолился Ленц.

Но его реплика запоздала. «Карл» уже рванулся вперед. Компрессор засвистел. Махавшая нам рука скрылась в окошке – ибо «Карл» следовал приглашению, он приближался. Приближался неудержимо. Вот он нагнал чужую машину, которая лишь теперь привлекла наше внимание. Теперь мы уставились на человека за рулем с немым и невинным вопросом: мы хотели знать, почему он нам махал. Но тот напряженно смотрел в другую сторону. И тогда «Карл», дав наконец полный газ, легко умчался вперед – грязный, хлопающий крыльями, победоносный навозный жук.

– Отлично сработано, Отто, – сказал Ленц Кестеру. – По крайней мере ужин мы ему отравили.

Из-за таких гонок мы и не меняли кузов «Карла». Стоило ему появиться на дороге, как его стремились немедленно обогнать. Для других машин он был что подбитая ворона для стаи голодных кошек. Самые смирные семейные экипажи становились задирами, и даже бородатых толстяков охватывал неудержимый гоночный зуд, когда они видели перед собой его разболтанный, вихляющий кузов. Кто ж мог подозревать, что в такой страхолюдине бьется мощное сердце гоночного мотора!

Ленц утверждал, что «Карл» воспитывает людей. Он их учит почтительному отношению к творческому началу, всегда скрывающемуся за невзрачной оболочкой. Так говорил Ленц, называвший себя последним романтиком.

Мы остановились у небольшого ресторанчика и выбрались из машины. Вечер был прекрасен и тих. Свежие борозды пашни подернулись лиловой рябью. Края поля утопали в золотисто-коричневой дымке. Огромными фламинго передвигались по яблочко-зеленому небу облака, бережно окутывая узкий серп молодого месяца. Куст орешника держал в своих объятиях сумерки и тайну; он был трогательно наг, но уже полон надежды, зреющей в почках. Из тесного зала донесся запах жареной печенки и лука. Наши сердца забились бодрее.

Ленц, принохиваясь к запаху, устремился к дому. Вернулся, сияя.

– Жареная картошка – заглядение! Двигайтесь поживее, не то достанутся нам рожки да ножки!

В этот момент с шумом подъехала еще одна машина. Мы остановились как вкопанные. То был «бьюик». Он резко затормозил рядом с «Карлом».

– Гопля! – сказал Ленц. В подобных случаях дело не раз оборачивалось потасовкой.

Мужчина вылез из машины. Он был рослый, массивный, в широком коричневом пальто реглан из верблюжьей шерсти. Неприязненно покосившись на «Карла», он снял большие желтые перчатки и подошел к нам.

– Это что за модель такая? – обратился он с укусной гримасой к стоявшему ближе всех к нему Кестеру.

Мы какое-то время молча разглядывали его. Наверняка он принял нас за механиков, выехавших пофорсить в воскресных костюмах на чужой машине.

– Вы, кажется, что-то сказали? – спросил его наконец Отто, давая понять, что можно было бы быть и повежливее.

Мужчина покраснел.

– Я спросил, что это за машина, – заявил он в прежнем ворчливом тоне.

Ленц выпрямился. Большой нос его дрогнул. В вопросах вежливости он был щепетилен. Но прежде чем он успел открыть рот, словно по волшебному мановению распахнулась другая

дверца «бьюика», из нее выскользнула узкая нога, за ней последовало тонкое колено, и вот из машины вышла девушка и медленно направилась к нам.

Мы переглянулись от изумления. Как же мы не заметили, что в машине был еще кто-то? Ленц мгновенно преобразился. Его осыпанное веснушками лицо расплылось в улыбке. Да и все мы вдруг заулыбались бог весть почему.

Толстяк ошалело смотрел на нас. Он почувствовал себя неуверенно и явно не знал, что же делать дальше. Наконец он решил представиться и произнес с полупоклоном: «Биндинг», цепляясь за собственную фамилию как за палочку-выручалочку.

Девушка подошла к нам. Мы стали сама любезность.

– Так покажи им машину, Отто, – сказал Ленц, бросив быстрый взгляд на Кестера.

– Отчего ж не показать, – ответил Отто, улыбаясь одними глазами.

– Я бы и в самом деле охотно взглянул, – сказал Биндинг уже более примирительным тоном. – Дьявольская, видать, скорость. Запросто обставили меня.

Они вдвоем отправились на стоянку, и Кестер поднял капот «Карла».

Девушка не пошла с ними. Стройная и молчаливая, она стояла в сумерках рядом со мной и Ленцем. Я ожидал, что Готфрид воспользуется случаем и затрещит как пулемет. Ведь он был мастер на эти штучки. Но тут он, похоже, разучился говорить. Обычно токует, как тетерев, а тут застыл и рта разинуть не может, как монах-кармелит на побывке.

– Вы нас, пожалуйста, простите, – сказал я наконец. – Мы не заметили вас в машине. Иначе мы бы не стали так озорничать.

Девушка повернулась ко мне.

– Но почему? – спокойно возразила она неожиданно низким, глуховатым голосом. – Что же в этом было дурного?

– Дурного-то ничего, но и уместной такую игру не назовешь. Ведь наша машина дает километров двести в час.

Она слегка наклонилась вперед и засунула руки в карманы пальто.

– Двести километров?

– Точнее, сто восемьдесят девять и две десятых, по официальному хронометражу, – с гордостью выпалил Ленц.

Она засмеялась.

– А мы думали, шестьдесят – семьдесят, не больше.

– Вот видите, – сказал я. – Вы ведь не могли этого знать.

– Нет, – ответила она. – Этого мы действительно не могли знать. Мы были уверены, что «бьюик» вдвое быстрее вашей машины.

– В том-то и дело. – Я откинул ногой сломанную ветку. – У нас было слишком большое преимущество. Представляю себе, как разозлился на нас господин Биндинг.

Она рассмеялась.

– На какое-то время, что верно, то верно. Но ведь нужно уметь и проигрывать, иначе нельзя было бы жить.

– Это уж точно...

Возникла пауза. Я посмотрел на Ленца. Однако последний романтик только склабился да подергивал носом; помощи от него ждать было нечего. Шумели березы. За домом кудахтали курица.

– Чудесная погода сегодня, – сказал я наконец, чтобы прервать молчание.

– Да, великолепная, – согласилась девушка.

– И такая мягкая, – добавил Ленц.

– Просто на редкость, – продолжил я.

И снова разговор зашел в тупик. Девушка, должно быть, считала нас изрядными болванами, но мне при всем желании больше ничего не приходило в голову. Ленц стал принюхиваться.

– Печеные яблоки, – сказал он с чувством. – Кажется, тут подают к печенке еще и печеные яблоки. Вот уж поистине деликатес.

– Несомненно, – подтвердил я, мысленно проклиная нас обоих.

Кестер и Биндинг вернулись. За эти несколько минут Биндинг стал совершенно другим человеком. Он был, вероятно, одним из тех автомобильных маньяков, которые испытывают истинное блаженство, когда встречаются специалиста и могут с ним поговорить.

– А не поужинать ли нам вместе? – спросил он.

– Ну разумеется, – ответил Ленц.

Мы вошли в ресторанчик. В дверях Ленц подмигнул мне и показал глазами на девушку.

– Слышь, такая вот с лихвой окупит не только одну твою танцующую старуху, но и все десять.

Я пожал плечами:

– Может быть. Но что ж это ты предоставил мне одному заикаться?

Он засмеялся.

– Надо же и тебе когда-то научиться, детка...

– Нет уж, учиться у меня больше нет ни малейшей охоты, – сказал я.

Мы последовали за остальными. Они уже сидели за столиком. Хозяйка как раз подавала печенку и жареную картошку. Для начала она принесла также большую бутылку пшеничной водки.

Биндинг, как выяснилось, за словом в карман не лез. Просто поразительно, сколько всего он знал про автомобили. А уж когда он услышал, что Отто принимал участие в гонках, его расположение к собеседнику перешло все границы.

Я пригляделся к Биндингу внимательнее. Это был тяжеловатый, крупный мужчина с густыми бровями на красном лице, немного хвастлив, немного шумен и, по-видимому, добродушен, как человек, которому везет в жизни. Нетрудно было себе представить, как вечерами, прежде чем лечь спать, он чинно, с серьезным достоинством разглядывает свою физиономию в зеркале.

Девушка сидела между Ленцем и мной. Она сняла пальто и оказалась в сером английском костюме. На шее у нее был повязан белый платок на манер любительницы верховой езды. В свете лампы ее шелковистые каштановые волосы отливали янтарем. Плечи очень прямые, но чуть выпирающие вперед, руки тонкие, длинные, скорее костлявые, чем мягкие. Лицо узкое и бледное, однако большие глаза придавали ему выражение силы и страстности. На мой вкус, она была очень хороша, однако дальше этого мысли мои не шли.

А вот Ленц полностью преобразился. Теперь он был огонь и пламень. Его желтый чуб сверкал, как хохолок удода. Благодаря фейерверку остроумия он вместе с Биндингом царил за столом. Я же был вроде пустого места и напоминал о своем существовании, лишь передавая тарелку или предлагая сигарету. Или чокаясь с Биндингом, что приходилось делать довольно часто. Внезапно Ленц ударил себя по лбу.

– А ром?! Робби, тащи-ка сюда наш ром, ром ко дню рождения!

– Ко дню рождения? А что, у кого-нибудь из вас день рождения? – спросила девушка.

– У меня, – ответил я. – Меня уже целый день этим донимают.

– Донимают? Стало быть, вам не хочется, чтобы вас поздравляли?

– Отчего же? Поздравления – дело совсем другое.

– В таком случае желаю вам всего самого доброго.

На один миг ее рука оказалась в моей, и я почувствовал ее теплое и сухое пожатие. Потом я вышел за ромом. Ночь над маленьким домом стояла огромная, молчаливая. Кожаные сиденья нашей машины покрылись влагой. Я остановился, глядя на горизонт и любуясь багровым заревом над городом. Я бы с радостью постоял и еще, но Ленц уже звал меня.

Биндинга ром подкосил. Это выяснилось уже после второй рюмки. Шатаясь, он вышел в сад. Мы с Ленцем встали и подошли к стойке. Ленц потребовал бутылку джина.

– Великолепная девочка, а? – сказал он.

– Не знаю, Готфрид, – ответил я. – Не рассмотрел толком.

Некоторое время он пристально изучал меня голубыми, в цветных крапинках, глазами, а потом тряхнул своей огненной гривой.

– На кой хрен ты вообще живешь, детка, а?

– Я и сам давно желал бы знать, – ответил я.

Он рассмеялся.

– Еще бы! Да не тут-то было! Легко это знание никому не дается. Но сперва я хочу докопаться, в каких отношениях она с этим толстым автомобильным справочником.

И он отправился за Биндингом в сад. Через какое-то время они вместе вернулись к стойке. Вероятно, добытые сведения были благоприятными, так как Готфрид, на радостях от того, что дорога свободна, чуть не лобызался с Биндингом. Они взяли себе еще бутылку джина и час спустя уже были на ты. Ленц, когда был в ударе, мог так обворозить, что устоять перед ним было невозможно. Да он и сам тогда не мог остановиться. Теперь он полностью завладел Биндингом, и вскоре они уже сидели в садовой беседке и распевали солдатские песни. За этим занятием последний романтик напрочь забыл о девушке.

Мы остались втроем во всем зале. Стало вдруг очень тихо. Мирно тикали настенные шварцвальдские часы. Хозяйка убирала посуду, по-матерински поглядывая на нас. У печки растянулась гончая бурого цвета. Время от времени она тьякала со сна – тихо, жалобно и визгливо. За окном трепал ставни ветер. Он доносил до нас обрывки солдатских песен; и у меня было такое чувство, будто это тесное помещение поднимается вместе с нами куда-то ввысь и, покачиваясь, плывет сквозь ночь, сквозь годы, оставляя далеко позади воспоминания.

Это было удивительное состояние. Время словно остановилось: оно уже не было потоком, вытекающим из мрака и впадающим во мрак, оно стало безмолвным океаном, в зеркале которого отражается жизнь. Я держал в руке рюмку с мерцающим ромом. Вспомнилось, как утром в мастерской я сидел над листком бумаги. Тогда мне было немного грустно, теперь это прошло. Живи, пока живется, чего там. Я посмотрел на Кестера. Он разговаривал с девушкой. О чем? Я не прислушивался, не различал слов. Я был в мягкой власти первого, согревающего кровь опьянения, которое любил потому, что все неизведанное оно облекало покровом приключения и тайны. В саду Ленц с Биндингом пели песню о битве в Аргоннском лесу. Рядом со мной звучал голос незнакомой девушки – низкий, волнующий, чуть хриплый, говоривший медленно, тихо. Я допил рюмку до дна.

Вернулась наша дружная парочка. На свежем воздухе они несколько протрезвели. Мы стали собираться в дорогу. Помогая девушке надеть пальто, я оказался совсем близко от нее. Она плавно повела плечами, откинула голову назад и улыбнулась чему-то своему, глядя на потолок. На какой-то миг я даже опустил пальто. Куда же я смотрел все это время? Спал, что ли? Восторг Ленца стал мне вдруг так понятен.

Она с некоторым недоумением повернулась ко мне. Я поспешно снова подал ей пальто и посмотрел на Биндинга, который с остекленевшими глазами стоял у стола, все еще красный, как кирпич.

– Вы полагаете, он сможет вести машину? – спросил я.

– Думаю, да.

Я не отрываясь смотрел на нее.

– Если вы в нем не уверены, кто-то из нас мог бы поехать с вами.

Она достала пудреницу и щелкнула ее крышкой.

– Ничего, как-нибудь обойдется. Да он даже лучше водит, когда выпьет.

– Лучше и, вероятно, более лихо, – возразил я.

Она посмотрела на меня поверх своего зеркала.

– Что ж, будем надеяться, что все обойдется, – сказал я.

Опасения мои были явно преувеличены. Биндинг держался вполне сносно. Но так не хотелось отпустить ее ни с чем.

– Вы разрешите мне позвонить вам завтра, чтобы узнать, как вы доехали? – спросил я.

Она ответила не сразу.

– Ведь и мы несем известную ответственность за вас – как зачинщики этой попойки.

Особенно я с моим ромом в честь дня рождения.

Она засмеялась.

– Ну хорошо, если вы так настаиваете. Вестен, 27–96.

Как только мы вышли, я сразу же записал номер. Мы посмотрели, как Биндинг отъехал, и выпили еще по последней, на дорожку. Потом запустили на всю катушку мотор нашего «Карла». Он понесся, разметая легкий мартовский туман; дышалось легко, город летел нам навстречу мириадами пляшущих огоньков; вот, как ярко освещенный корабль, из тумана вдруг выплыл бар Фредди. Мы поставили «Карла» на якорь. Жидким золотом тек коньяк, джин сверкал, как аквамарин, а ром был воплощением самой жизни. С железной несокрушимостью восседали мы за стойкой бара, музыка плескалась, жизнь светлела и наливалась силой, мощными волнами теснила нам грудь, унося прочь и самую память о безнадежности пустых мебелишек, которые нас ожидали, о безотрадности существования. Стойка бара была капитанским мостиком на корабле жизни, и мы смело правили в пучину будущего...

II

На другой день было воскресенье. Спал я долго и проснулся, только когда солнце добралось до моей постели. Я вскочил и распахнул окно. День выдался свежий и ясный. Я поставил спиртовку на табурет и пустился на поиски банки с кофе. Хозяйка моя, фрау Залевски, разрешала мне варить кофе у себя в комнате. Ее кофе был слишком жидок. Особенно после вчерашней попойки.

Вот уже два года, как я жил в пансионе фрау Залевски. Мне нравился этот район. Здесь всегда что-нибудь происходило, так как на тесном пяточке расположились Дом профсоюзов, кафе «Интернациональ» и зал собраний Армии спасения. К тому же перед домом находилось старое кладбище, на котором давно уже не хоронили. Деревья там были как в парке, и ночью, в тихую погоду, можно было подумать, что живешь за городом. Тишина, однако, наступала здесь поздно – рядом с кладбищем раскинулась шумная площадь с каруселью, качелями, балаганом.

Кладбище означало верный гешефт для фрау Залевски. Ссылаясь на свежий воздух и приятный вид из окна, она могла брать за комнаты подороже. А когда жильцы выражали свое недовольство, она всякий раз говорила:

– Но, господа, вы только подумайте, какое местоположение!

Одевался я очень медленно. Только так можно ощутить выходной день. Умылся, побродил по комнате, просмотрел газеты, сварил себе кофе, постоял у окна, поглазел на то, как поливают улицу, послушал, как поют птицы на высоких кладбищенских деревьях, – а пели они будто маленькие серебряные дудочки самого Господа Бога, сопровождающие тихую, сладостную мелодию меланхолической шарманки на площади, – порылся потом в своих носках и рубашках, выбирая из двух-трех так, будто у меня было их двадцать; насвистывая, выгреб все из карманов – мелочь, перочинный ножик, ключи, сигареты, – и тут вдруг на глаза мне попала вчерашняя бумажка с именем девушки и ее телефоном. Патриция Хольман. Странное имя – Патриция. Я положил бумажку на стол. Неужели это было только вчера? А как далеко отодвинулось – почти забылось в жемчужно-сером чаду алкоголя... В этом и чудо опьянения – оно быстро стягивает в один узел всю твою жизнь, зато между вечером и утром оставляет зазоры, в которых умещаются целые годы.

Я сунул бумажку под стопку книг. Позвонить? Быть может, да. А может, и нет. Днем такие вещи всегда выглядят иначе, чем вечером. Кроме того, я так радовался своему покою. Ведь шума в последние годы хватало. Только не принимать ничего слишком близко к сердцу, как говорил Кестер. Ведь то, что принимаешь слишком близко к сердцу, хочется удержать. А удержать ничего нельзя...

В эту минуту в соседней комнате начался привычный воскресный скандал. Я поневоле прислушался, потому что никак не мог найти шляпу, которую, видимо, забыл где-то вчера вечером. Сцепились супруги Хассе, жившие уже лет пять в тесной комнатухе; жена сделалась истеричкой, а мужа просто задавил страх потерять свою должность. Для него это был бы конец. Ему ведь было сорок пять лет, и никто бы не нанял его больше, если б он стал безработным. В том-то и был весь ужас: раньше люди опускались постепенно и всегда еще оставалась возможность снова выкарабкаться наверх, теперь же любое увольнение сразу ставило на край пропасти, именуемой вечной безработицей.

Я уже хотел было потихоньку улизнуть, как в дверь постучали и ввалился Хассе. Он упал на стул.

– Я этого больше не вынесу.

Человек он был, в сущности, кроткий, мягкий, с обвислыми плечами и маленькими усиками. Скромный, исправный служащий. Но именно таким-то теперь приходилось всего труднее. Впрочем, таким всегда приходится труднее всех. Скромность, а также исправное служение

долгу вознаграждаются только в романах. В жизни их сначала используют, а потом затирают. Хассе воздел руки:

– Вы только представьте, опять у нас уволили двоих! Очередь за мной, вот увидите!

В таком страхе он жил от первого числа одного месяца до первого числа другого. Я налил ему рюмку шнапса. Он дрожал всем телом. В один прекрасный день скovyрнется – это было ясно как день. Ни о чем другом говорить он не мог.

– А тут еще эти вечные попреки! – прошептал он.

Вероятно, жена упрекала его в том, что он испортил ей жизнь. Это была женщина сорока двух лет, несколько рыхлая и отцветшая, но, разумеется, еще не такая изнуренная, как ее муж. Главным ее страданием была надвигающаяся старость.

Вмешиваться было бесполезно.

– Послушайте, Хассе, – сказал я. – Оставайтесь у меня сколько хотите. А мне нужно идти. Коньяк в платяном шкафу, если вы его предпочитаете. Вот – ром. А вот – газеты. И потом – не сходить ли вам куда-нибудь с женой сегодня после обеда? Ну хоть в кино. Денег потратите столько же, сколько просидите за два часа в кафе, зато удовольствия больше. Забыться – вот сегодня главный девиз! И не ломать себе голову! – И я похлопал его по плечу, испытывая некоторые угрызения совести. Хотя кино и впрямь штука хорошая. Там каждый может о чем-нибудь помечтать.

Дверь в соседнюю комнату была отворена. Из нее доносились громкие рыдания жены Хассе. Я двинулся дальше по коридору. Следующая дверь была слегка приоткрыта. Там подслушивали. Сквозь щель пробивался густой запах косметики. В этой комнате жила Эрна Бениг, личная секретарша какого-то босса. Она носила слишком шикарные для ее жалованья туалеты; однако один раз в неделю шеф диктовал ей до утра. И тогда на другой день она бывала в дурном настроении. Зато каждый вечер она ходила на танцы. Она говорила, что не захочет и жить, если нельзя будет танцевать. У нее было два дружка. Один любил ее и приносил ей цветы, другого любила она и давала ему деньги.

Рядом с ней жил ротмистр граф Орлов – русский эмигрант, наемный партнер для танцев, кельнер, статист, жиголо с седыми висками. Он превосходно играл на гитаре. Молился на ночь Казанской Божьей Матери, испрашивая должность метрдотеля в гостинице средней руки. Лил обильные слезы, когда бывал пьян.

Следующая дверь. Фрау Бендер, медсестра из детских яслей. Пятидесяти лет. Муж погиб на войне. Оба ребенка умерли от голода в 1918 году. Пятнистая кошка – единственное, что у нее осталось.

Рядом – Мюллер, бухгалтер-пенсионер. Секретарь общества филателистов. Ходячая коллекция марок, и ничего больше. Счастливейший человек.

В последнюю дверь я постучал.

– Ну как, Георг, – спросил я, – по-прежнему ничего?

Георг Блок молча помотал головой. Он был студентом четвертого семестра. Чтобы продержаться четыре семестра, он два года работал на шахте. И вот накопления его почти иссякли, оставалось месяца на два. На шахту он вернуться не мог – там и так уже многие сидели без работы. Что он только не предпринимал, чтобы добыть себе место где-нибудь поблизости! Был с неделю расфасовщиком на маргариновой фабрике, но владелец ее разорился, и фабрику закрыли. Вскоре затем он получил место разносчика газет и вздохнул было с облегчением. Но уже на третий день, на рассвете, его остановили двое в форменных фуражках, отняли и разорвали газеты и заявили ему, чтобы он не совался в чужое дело, к которому не имеет никакого отношения. У них-де и без того безработных хватает. Тем не менее он вышел с газетами и на следующее утро, хотя должен был заплатить за разорванные газеты. И был сбит каким-то велосипедистом. Газеты разлетелись и упали в грязь. Это обошлось ему в две марки. Он вышел

и в третий раз и вернулся с разорванным костюмом и разбитой физиономией. Тогда он сдался. И теперь он в полном отчаянии сидел в своей комнате и все зубрил, зубрил как одержимый, будто это имело хоть какой-то смысл. Ел он один раз в день. При этом было все равно: одолеет он оставшиеся семестры или нет – ведь даже получив диплом, он мог рассчитывать на работу по специальности не раньше чем через десять лет.

Я сунул ему пачку сигарет.

– Наплюй ты на это дело, Георгий. Как я в свое время. Потом наверстаешь, когда сможешь.

Он покачал головой:

– Нет, после шахты я убедился: если не заниматься каждый день, то быстро выбиваешься из колеи. А второй раз я за это не возьмусь.

Бледное личико с торчащими ушами и близорукими глазами, тщедушная фигура с впалой грудью – эхма!..

– Ну бывай, Георгий. – Да, и родителей у него тоже не было.

Кухня. Чучело кабаньей головы на стене. Память об усопшем господине Залевски. Телефон. Полумрак. Пахнет газом и дешевым жиром. Входная дверь с гирляндой визитных карточек у звонка. Среди них и моя – «Роберт Локамп, студ. – фил., два длинных звонка». Карточка пожелтела и загрязнилась. Студ. – фил. Тоже мне гусь! Давненько это было.

Я спустился по лестнице и отправился в кафе «Интернациональ».

То был темный, прокуренный, длинный, как кишка, зал со множеством боковых комнат. Впереди, рядом со стойкой, стояло пианино. Оно было расстроено, несколько струн лопнуло, на многих клавишах не доставало костяшек, но я любил этого славного, послужившего свое трудягу. Он целый год был спутником моей жизни, когда я подвизался здесь тапером.

В задних комнатах кафе устраивали свои собрания торговцы скотом; иной раз и владельцы каруселей и балаганов. У самого входа располагались проститутки.

В кафе было пусто. Один лишь плоскостопый кельнер Алоис стоял за стойкой.

– Как всегда? – спросил он.

Я кивнул. Он принес мне стакан портвейна пополам с ромом. Я сел за столик и, ни о чем не думая, уставился в пространство перед собой. Окно косо отбрасывало серенький сноп солнечного света. Он дотягивал до полок с бутылками. Шерри-бренди пылал, как рубин.

Алоис полоскал стаканы. Хозяйская кошка мурлыкала, усевшись на пианино. Я медленно выкурил сигарету. Воздух здесь нагонял сонливость. Какой необычный голос был вчера у той девушки! Низкий, слегка грубоватый, почти хриплый – и в то же время мягкий.

– Дай-ка мне парочку журналов, Алоис, – попросил я.

Со скрипом отворилась дверь, и вошла Роза, кладбищенская проститутка по кличке Железный Конь. Это прозвище она заслужила своей неутомимостью. Роза заказала чашку шоколада. Она позволяла ее себе утром по воскресеньям, после чего ехала в Бургдорф, к своему ребенку.

– Роберт, привет.

– Привет, Роза. Ну, как твоя малышка?

– Поеду посмотрю. Вот что я ей везу.

Она вынула из пакета краснощекую куклу и надавила ей на живот. «Ма-ма», – пропищала кукла. Роза сияла.

– Фантастика! – сказал я.

– Глянь-ка. – Она положила куклу на спину. Та захлопнула глаза.

– Невероятно, Роза.

Она была удовлетворена и снова упаковала куклу.

– Ты-то знаешь толк в подобных вещах, Роберт. Будешь когда-нибудь хорошим отцом.

– Как же, как же, – проговорил я с сомнением.

Роза была очень привязана к своему ребенку. Несколько месяцев назад, когда девочка еще не ходила, она держала ее при себе, в своей комнате. Это ей удавалось, несмотря на ее ремесло, потому что к комнате примыкал небольшой чулан. Являясь вечером с кавалером, она под каким-нибудь предлогом просила его подождать перед дверями, сама быстро проходила вперед, задвигала коляску с ребенком в чулан, запирала ее там и впускала кавалера. Но случилось так, что в декабре малышке пришлось слишком часто перемещаться из теплой комнаты в нетопленный чулан. Она простудилась и часто плакала при гостях. И Розе пришлось с ней расстаться, как ей это было ни тяжело. Она отдала ее в дорогой пансионат, выдав себя за вдову почтенного человека. Иначе ребенка не приняли бы.

Роза поднялась.

– Так ты придешь в пятницу?

Я кивнул.

Она посмотрела на меня.

– Ты ведь знаешь, в чем дело?

– Конечно.

Я не имел никакого понятия о том, в чем было дело, но у меня не было и ни малейшего желания расспрашивать. Эту привычку я усвоил себе за тот год, что стучал здесь по клавишам. Так было удобнее всего. Так же, как обращаться ко всем девицам на ты. Иначе было просто нельзя.

– Привет, Роберт.

– Привет, Роза.

Я посидел еще немного. Что-то на сей раз в душе моей не водворился тот сонливо-бездомный покой, ради которого я и ходил сюда по воскресеньям. Я выпил еще стаканчик рома, погладил кошку и ушел.

Весь день я слонялся без всякой цели. Я не знал, чем заняться, и нигде не задерживался подолгу. Под вечер я пошел в нашу мастерскую. Кестер был на месте. Он трудился над «кадиллаком». Мы купили его недавно по дешевке, как старье. Теперь его было не узнать, и вот Кестер наводил последний глянец. Афера была рискованной, но мы надеялись заработать. Я, правда, сомневался, что дело выгорит. В трудные времена люди предпочитают покупать маленькие машины, а не такие дилижансы.

– Нет, Отто, нам не сбыть его с рук, – сказал я.

Но Кестер был уверен в успехе.

– Это средние машины трудно сбыть с рук, Робби, – возразил он. – А вот дешевые идут неплохо и самые дорогие тоже. Всегда есть люди, у которых водятся деньги. Или есть охота производить такое впечатление.

– А где Готфрид? – спросил я.

– На каком-то политическом собрании...

– С ума сойти! Что он там забыл?

Кестер засмеялся.

– Этого он и сам не знает. Да ведь весна на дворе. По весне он всегда становится шалым и жаждет новенького.

– Возможно, и так, – сказал я. – Давай-ка я тебе помогу.

Мы провозились до темноты.

– Хватит на сегодня, – сказал Кестер.

Мы умылись.

– Знаешь, что у меня здесь? – спросил Кестер, хлопывая по бумажнику.

– Интересно...

– Билеты на бокс сегодня вечером. Два. Ты ведь пойдешь со мной, а?

Я колебался. Он посмотрел на меня с удивлением.

– Штиллинг выступает. Против Уокера, – сказал он. – Бой будет что надо.

– Возьми лучше Готфрида с собой, – предложил я. Вообще-то смешно было отказываться, но идти мне не хотелось, сам не знаю почему.

– А ты что – чем-нибудь занят?

– Нет.

Он посмотрел на меня.

– Домой пойду, – сказал я. – Письма напишу и все такое прочее. Надо ведь когда-нибудь...

– Ты не болен? – спросил он с тревогой.

– Ничуть, что ты. Разве что тоже слегка ошалел от весны.

– Ну ладно. Делай как знаешь.

Я побрел домой. Но и сидя в своей комнате, все никак не мог решить, чем же заняться. Потоптался в разных углах как потерянный. Теперь я не мог понять, что меня сюда так тянуло. Наконец я надумал навестить Георга и вышел в коридор. Тут я натолкнулся на фрау Залевски.

– Как, вы здесь? – спросила она, изумившись.

– Трудно было бы отрицать, – ответил я слегка раздраженно.

Она покачала головой в седых буклях.

– Не гуляете? Чудеса воистину.

У Георга я пробыл недолго, вернулся минут через пятнадцать. Стал раздумывать – не выпить ли? Но пить не хотелось. Сел к окну и уставился на улицу.

Сумерки летучей мышью парили над кладбищем. Небо над Домом профсоюзов было бледно-зеленым, как недозрелое яблоко. Уже зажгли фонари, но было еще недостаточно темно, и казалось, что они зябнут. Я порылся в книгах в поисках той бумажки с телефоном. В конце концов, позвонить-то можно. Я ведь даже почти обещал. К тому же скорее всего ее нет дома.

Я вышел в прихожую к телефону, снял трубку и назвал номер. И пока ждал ответа, ощущал, как из черной трубки мягкой волной поднимается легкое нетерпение. Девушка оказалась дома. И когда ее низкий, хриловатый голос, словно по волшебству, зазвучал вдруг во владениях фрау Залевски, среди кабаньих голов, запахов жира и звякающей посуды, – зазвучал медленно, тихо, так, будто она раздумывала над каждым словом, мое недовольство жизнью сняло как рукой. И я не только справился о том, как она доехала, но повесил трубку лишь после того, как договорился о свидании на послезавтра. И жизнь сразу перестала казаться мне такой пресной. «С ума сойти», – подумал я, тряхнув головой. Потом я снова поднял трубку и позвонил Кестеру.

– Билеты еще у тебя, Отто?

– Да.

– Ну и отлично. Тогда я тоже пойду на бокс.

После бокса мы еще побродили по ночному городу. Улицы были светлы и пустынно. Рекламные вывески сияли. В витринах бессмысленно горел свет. В одной из них стояли голые восковые куклы с раскрашенными лицами. Они выглядели таинственно и развратно. Рядом сверкали драгоценности. Дальше был универмаг, залитый светом, как собор. Витрины пенились пестрым, сверкающим шелком. У входа в кино сидели на корточках бледные, изможденные люди. А рядом красовалась витрина продовольственного магазина. В ней громоздились башни из консервных коробок, вяли окутанные ватой яблоки, тушки жирных гусей висели, как белье, на веревке, коричневые круглые караваи лежали между грудями твердых копченых колбас, и переливались розовыми и нежно-желтыми цветами тонкие ломтики лососины, семги и разных сортов печеночного паштета.

Мы присели на скамью на краю сквера. Было прохладно. Над домами электрическим фонарем зависла луна. Было уже далеко за полночь. Прямо на проезжей части улицы рабочие разбили палатку. Они ремонтировали трамвайные пути. Шипела сварка, тучи искр осыпали

озабоченно склоненные темные фигурки. Тут же, словно полевые кухни, дымились котлы с горячим асфальтом.

Мы думали о своем.

– Странная штука все-таки воскресенье, а, Отто?

Кестер кивнул.

– Ведь мы даже рады, когда оно проходит, – задумчиво сказал я.

Кестер пожал плечами:

– Наверное, мы так привыкаем к своему ярму, что без него нам сразу делается не по себе.

Я поднял воротник.

– А что, собственно, мешает нам радоваться жизни, Отто?

Он взглянул на меня с улыбкой.

– Ну, нам с тобой кое-что другое помешало, Робби.

– Что правда, то правда, – согласился я. – И все-таки...

Резкое пламя автогена зеленым язычком лизнуло асфальт. Освещенная изнутри палатка казалась островком тепла и уюта.

– Как ты думаешь, во вторник мы покончим с «кадиллаком»? – спросил я.

– Возможно, – сказал Кестер. – А почему ты спрашиваешь?

– Да так просто.

Мы встали и пошли домой.

– Что-то я сегодня не в своей тарелке, – сказал я.

– Со всяким бывает, – сказал Кестер. – Спокойной ночи, Робби.

– И тебе также, Отто.

Дома я лег не сразу. Конура моя мне вдруг разонравилась. Люстра была отвратительной, свет слишком ярким, кресла потертыми, линолеум скучным до безнадежности, а чего стоил умывальный столик и эта картина с изображением битвы при Ватерлоо, – нет, сюда нельзя пригласить порядочного человека. А тем более женщину. Разве что какую-нибудь девицу из «Националя», подумал я.

III

Во вторник утром мы завтракали во дворе мастерской. «Кадиллак» был готов. Ленц держал в руках лист бумаги и взирал на нас с видом триумфатора. Он ведал у нас рекламой и только что огласил нам с Кестером текст составленного им объявления о продаже автомобиля. Начиналось оно словами: «Домчит вас в отпуск в южные края шикарный лимузин», и было чем-то средним между одой и гимном.

Мы с Кестером молчали, опешив под натиском бурного потока цветистой фантазии. Ленц же полагал, что мы сражены.

– Тут вам и поэзия, и эффект, не так ли? – с гордостью спросил он. – В век деловитости нужно быть романтичным, в этом весь фокус. Контраст притягателен.

– Но не тогда, когда речь идет о деньгах, – вставил я.

– Автомобили, мой мальчик, покупают не для того, чтобы вложить деньги, – отмахнулся Готфрид. – Их покупают, чтобы деньги выложить. А уж тут начинается романтика, особенно у делового человека. У большинства она этим и кончается. А ты что думаешь, Отто?

– Видишь ли... – с осторожностью начал Кестер.

– Ну о чем тут толковать, – прервал я его, – такая реклама годится для курорта или дамского крема, но не для автомобиля.

Ленц открыл было рот.

– Минуточку, – продолжал я. – Нас ты подозреваешь в необъективности, Готфрид. Что ж, делаю предложение: давай спросим Юппа. Пусть то будет голос народа!

Юпп, наш единственный служащий, малый лет пятнадцати, был у нас чем-то вроде ученика. Он обслуживал бензоколонку, приносил еду на завтрак, убирал в конце рабочего дня. Был он шупл, весь в веснушках и с самыми огромными оттопыренными ушами, какие мне только доводилось видеть. Кестер говорил, что если бы Юпп упал с самолета, с ним бы ничего не случилось: он плавно опустился бы на землю на ушах, как на планере.

Мы позвали Юппа. Ленц прочитал ему объявление.

– Тебя заинтересовала бы такая машина, Юпп? – спросил Кестер.

– Машина? – переспросил Юпп.

Я засмеялся.

– Разумеется, машина, – проворчал Готфрид. – Не лошадь же.

– А есть у нее прямое переключение скоростей? А как управляется кулачковый вал – сверху? А тормоза гидравлические? – невозмутимо осведомился Юпп.

– Кретин, да ведь это же наш «кадиллак»! – прошипел Ленц.

– Не может быть, – возразил Юпп, осклабя рот до ушей.

– Съел, Готфрид? – сказал Кестер. – Вот тебе и современная романтика.

– Катись-ка ты к своему насосу, Юпп. Проклятое дитя двадцатого века!

Ленц, недовольно бурча, скрылся в мастерской, чтобы, не теряя поэтического накала в своем объявлении, придать ему все же больше технического веса.

Несколько минут спустя в нашем дворе неожиданно появился обер-инспектор Барзиг. Мы встретили его с превеликим почтением. Он был инженером и экспертом автомобильного страхового общества «Феникс», то есть человеком влиятельным, если говорить о распределении заказов на ремонт. У нас с ним были налажены прекрасные отношения. Как инженер он, правда, был сам стокий сатана, ни в чем не дававший спуска, зато как знаток бабочек он был мягче воска. У него была большая коллекция, которую и мы однажды удачно пополнили, подарив ему огромную ночную бабочку, залетевшую к нам в мастерскую. Барзиг даже весь побледнел и приобрел крайне торжественный вид, когда мы вручали ему эту тварь. Оказалось, то была «мертвая голова», величайшая редкость, коей как раз не доставало в его собрании. Он

никогда не забывал об этой услуге и с тех пор снабжал нас заказами, как только мог. А мы за то ловили ему все, что только могли поймать.

– Рюмочку вермута, господин Барзиг? – спросил Ленц, вполне пришедший в себя после конфуза.

– До вечера ни капли спиртного, – ответил Барзиг. – Это у меня железный принцип.

– Принципы нужно иногда нарушать, иначе от них никакой радости, – возразил Готфрид, наливая. – За грядущее процветание бражника, «павлиньего глаза» и перламутровки.

Барзиг колебался не долго.

– Ну, раз уж вы заходите мне в тыл с этой стороны, то я вынужден сдаться, – сказал он, беря в руки рюмку. – Но тогда уж чокнемся и за «воловий глаз». – И он ухмыльнулся с таким видом, будто отпустил какую-нибудь двусмысленную шутку по адресу женщины. – Дело в том, что я тут недавно открыл новую разновидность – со щетинистыми усиками.

– Черт возьми, – воскликнул Ленц, – вот так штука! Теперь вы, стало быть, первооткрыватель, и ваше имя запишут на скрижалях науки!

Мы выпили еще по одной во славу щетинистых усиков, Барзиг вытер подбородок.

– А у меня для вас хорошая новость. Можете забирать «форд». Дирекция утвердила ремонт за вами.

– Великолепно, – сказал Кестер. – Это нам очень кстати. А как дела с нашей сметой?

– Тоже утверждена.

– Без сокращений?

Барзиг прищурился одним глазом.

– Сначала руководство ни в какую не соглашалось. Но в конце концов...

– За страховое общество «Феникс» нужно выпить по полной! – выпалил Ленц, снова наполняя рюмки.

Барзиг встал и начал прощаться.

– Подумать только, – сказал он, уходя. – Женщина, которая была в «форде», все-таки на днях умерла. А ведь у нее были всего лишь порезы. Видно, потеряла много крови.

– Сколько же ей было лет? – спросил Кестер.

– Тридцать четыре, – ответил Барзиг. – Беременность на четвертом месяце. Двадцать тысяч страховки.

Мы сразу же поехали за машиной. Она стояла во дворе владельца булочной. Подвыпивший булочник врезался на ней ночью в стену. Пострадала только жена, сам он не получил и царапины.

Мы встретили его в гараже, куда отправились, чтобы подготовить машину к буксировке. Какое-то время он молча наблюдал за нами; кургузый, с мясистым затылком, короткой шеей, он стоял, склонив голову, напоминая мешок, прислоненный к стене. С нездоровым, сероватым, как у всех пекарей, цветом лица, в полумраке он походил на большого мучного червя. Наконец он медленно приблизился.

– Когда машина будет готова? – спросил он.

– Недели через три, – ответил Кестер.

Булочник ткнул пальцем в кузов.

– Это ведь тоже включено в общий счет, не так ли?

– Как так? – спросил Отто. – Верх целехонек.

Булочник сделал нетерпеливый жест.

– Конечно-конечно. Но ведь общая-то сумма большая. Так что может хватить и на кузов.

Мы ведь понимаем друг друга?

– Нет, – сказал Кестер.

Понять было несложно. Этот тип хотел задарма получить новый кузов, включив его потихоньку в общую смету страховки. Мы немного поспорили. Он пригрозил аннулировать заказ,

передоверив его другой, более покладистой мастерской. И Кестер в конце концов уступил. Он никогда не сделал бы этого, если б у нас была другая работа.

– Ну вот, сразу бы так, – криво усмехнулся булочник. – Значит, я зайду на днях – материал подобрать. Лучше бы всего беж. Каких-нибудь нежных оттенков...

Мы тронулись в путь. На шоссе Ленц показал рукой на большие темные пятна, что были на сиденьях «форда».

– Кровь его погибшей жены. А он новый кузов себе выжувливает. «Беж». «Нежных оттенков». Хорош гусь! Не удивлюсь, если он слупит страховку за двух мертвецов. Ведь жена-то была беременна.

Кестер пожал плечами:

– Он, по-видимому, считает, что это разные вещи, которые не надо путать.

– Наверное, – согласился Ленц. – Есть ведь люди, которые и в несчастье находят счастье.

А нам это обойдется ровно в полсотни.

После обеда я под благовидным предлогом отправился домой. На пять у меня была назначена встреча с Патрицией Хольман, но в мастерской я не сказал об этом ни слова. Не то чтобы хотел скрыть, просто не верил, что это случится.

Она предложила для свидания одно кафе. Раньше я там никогда не бывал, знал только, что это небольшое изысканное заведение. С тем и отправился. Но едва переступил порог, как непроизвольно отпрянул. Все помещение было набито женщинами, и они галдели. Я попал в типично дамскую кондитерскую.

Мне с трудом удалось протиснуться к столику, который только что освободился. Я неприязненно огляделся. Кроме меня, тут было еще только двое мужчин, да и те мне не понравились.

– Кофе, чаю, шоколаду? – спросил кельнер, смахивая салфеткой крошки от пирожного прямо мне на костюм.

– Двойную порцию коньяка, – с вызовом сказал я.

Он принес коньяк. Но заодно привел с собой целый хоровод алчущих места дамочек во главе с преклонного возраста особой атлетического сложения в шляпе со страусовыми перьями.

– Вот, не угодно ли, четыре места, – сказал кельнер, указывая на мой стол.

– Стоп, стоп! – возразил я. – Здесь занято. Ко мне должны прийти.

– Нет, так не годится, уважаемый, – сказал кельнер. – В это время у нас нельзя занимать места.

Я посмотрел на него. Потом перевел взгляд на даму атлетического сложения, которая уже вплотную подошла к столу и вцепилась в спинку стула. Я увидел ее лицо и понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Пали хоть из пушек, решимости этой дамы завоевать стол не поколебать.

– Не могли бы вы по крайней мере принести мне еще коньяку? – в ворчливом тоне обратился я к кельнеру.

– Извольте, сударь. Опять двойной?

– Да.

– Слушаюсь. – Он поклонился. – Это ведь столик на шесть персон, – сказал он извиняющимся тоном.

– Ладно уж, принесите только коньяк.

Атлетка, надо полагать, была из общества трезвости. Она с таким видом уставилась на мой коньяк, точно это была тухлая рыба. Чтобы позлить ее, я заказал еще и, в свой черед, уставился на нее. Вся эта ситуация показалась мне вдруг ужасно нелепой. Зачем я здесь? И чего я хочу от этой девушки? Я даже не был уверен, что узнаю ее в такой суматохе и при таком гапе. Начиная злиться, я опрокинул коньяк.

– Салют! – послышалось у меня за спиной.

Я вскочил. Передо мной стояла она и смеялась.

– А вы, я вижу, не теряете времени?

Я поставил на стол рюмку, которую все еще держал в руке. На меня вдруг нашло замешательство. Девушка выглядела совсем по-другому, чем я помнил. В этом скопище упитанных, жующих пирожные женщин она походила на юную стройную амазонку – холодную, сияющую, уверенную в себе, недоступную. «Ничего у меня с ней не выйдет», – подумал я и сказал:

– Как это вы здесь появились? Словно призрак! Ведь я все время следил за дверью.

Она указала куда-то вправо.

– Тут есть еще один вход. Но я опоздала. Вы давно ждете?

– Нет, совсем нет. Минуты две-три, не больше. Я тоже только что пришел.

Хоровод за моим столом умолк. Я чувствовал на своем затылке оценивающие взгляды четырех матрон.

– Останемся здесь? – спросил я.

Девушка скользнула по столу быстрым взглядом. Губы ее слегка дрогнули в полуулыбке. Она весело посмотрела на меня.

– Боюсь, кафе везде одинаковы.

Я покачал головой:

– Если они пустые, они уже лучше. А здесь какой-то дьявольский притон, в нем можно нажать комплекс неполноценности. Лучше уж перейти в какой-нибудь бар.

– Бар? Разве бывают бары, открытые среди бела дня?

– Я знаю один. В нем, правда, совсем тихо. Но если вы не против тишины...

– Иной раз очень даже не против...

Я посмотрел на нее. В это мгновение я не мог понять, что она имеет в виду. Иронию я ценю, но не ту, что направлена против меня. Правда и то, что совесть моя всегда нечиста.

– Итак, идем, – сказала она.

Я подозвал кельнера.

– Три двойных коньяка! – проорал этот горе луковое таким зычным голосом, будто ему нужно было докричаться в могилу. – Три марки тридцать пфеннигов.

Девушка обернулась.

– Три двойных коньяка за три минуты? Ничего себе темп.

– Два из них оставались за мной со вчерашнего дня.

– Ну и лжец! – прошипела атлетка за моей спиной. Она слишком долго молчала.

Я обернулся и поклонился.

– Приятного Рождества, сударыни! – бросил я им, уходя.

– Вы что, повздорили с ней? – спросила меня девушка на улице.

– Так, ничего особенного. Просто я произвожу неблагоприятное впечатление на респектабельных домашних хозяек.

– Я тоже, – заметила она.

Я взглянул на нее. Она казалась мне существом из другого мира. Я совершенно не мог себе представить, кто она такая и как живет.

В баре я почувствовал куда более твердую почву под ногами. Когда мы вошли, бармен Фред протирает за стойкой большие рюмки для коньяка. Он поздоровался со мной так, будто видит меня впервые и будто не он волок меня третьего дня домой. Школа у него была отменная, опыт огромный.

В зале было пусто. Только за одним столиком сидел, по обыкновению, Валентин Хаузер. Я знал его еще с войны, мы служили в одной роте. Однажды он под ураганным огнем принес мне на передовую письмо, так как думал, что оно от матери. Он знал, что я жду от нее письма,

потому что ее должны были оперировать. Но он ошибся – то была всего-навсего реклама подшлемников из крапивной ткани. На обратном пути он был ранен в ногу.

Вскоре после войны Валентин получил наследство. С тех пор он его пропивал. «Надо же, – говорил он, – отпраздновать такое счастье – живым вернуться с войны». А то, что это было давно, для него не имело значения. Он утверждал, что сколько ни празднуй такое событие, все будет мало. Он был одним из тех, у кого память на войну была чудовищная. Мы все уже многое забыли, он же помнил каждый день и каждый час, проведенный на фронте.

Было заметно, что он выпил уже немало и сидел в своем углу, целиком погрузившись в себя, от всего отрешившись. Я поднял руку:

– Салют, Валентин!

Он очнулся и кивнул:

– Салют, Робби!

Мы сели за столик в углу. Подошел бармен.

– Что вы будете пить? – спросил я девушку.

– Может быть, рюмку martinis, – сказала она. – Сухого martinis.

– Ну, по этой части Фред специалист, – заметил я.

Фред позволил себе улыбнуться.

– Мне как обычно, – сказал я.

В баре было полутемно и прохладно. Пахло пролитым джином и коньяком. Запах был терпкий, напоминавший запах можжевельника и хлеба. С потолка свисала деревянная модель парусника. Стена за стойкой была обита медью. Приглушенный свет лампы отбрасывал на нее багровые блики, будто из преисподней. В ряду маленьких кованых бра горели лишь два – над столиком Валентина и над нашим. Желтые пергаментные абажуры у них были сделаны из старинных географических карт, они светились, как узкие ломтики мира.

Я был несколько смущен и толком не знал, с чего начать разговор. Ведь я совсем не знал эту девушку, и чем больше разглядывал ее, тем более незнакомой она представлялась мне. Давно уже я ни с кем вот так не сидел, и результат налицо – разучился. Привык общаться с мужчинами. Там, в кафе, мне мешал шум, здесь вдруг стала мешать тишина. Из-за нее каждое слово приобретало такой вес, что было трудно говорить непринужденно. Впору хоть вернуться обратно в кафе.

Фред принес заказ. Мы выпили. Ром был крепок и свеж. Он пах солнцем. Он был тем, за что можно было держаться. Я залпом выпил и сразу же вернул Фреду бокал.

– Вам нравится здесь? – спросил я.

Девушка кивнула.

– Больше, чем там, в кондитерской?

– Терпеть не могу кондитерские, – сказала она.

– Зачем же вы назначили встречу именно там? – спросил я озадаченно.

– Не знаю. – Она сняла берет. – Мне просто не пришло в голову ничего другого.

– Тем приятнее, что вам здесь нравится. Мы здесь часто бываем. По вечерам эта лачуга становится для нас чем-то вроде родного дома.

Она засмеялась.

– А разве это не печально?

– Нет, – сказал я. – Это в духе времени.

Фред принес мне вторую рюмку. А рядом с ней положил на стол зеленую «Гавану».

– Это от господина Хаузера.

Валентин помахал мне из своего угла и поднял рюмку.

– Тридцать первое июля семнадцатого года, Робби, – прохрипел он.

Я кивнул ему в ответ и тоже поднял рюмку.

Ему непременно нужно было с кем-нибудь выпить, я не однажды встречал его вечерами в одном из сельских трактиров и видел, как он чокается с луной или кустом сирени. При этом он вспоминал какой-нибудь особенно трудный день из числа проведенных в окопах и был благодарен судьбе за то, что уцелел и может вот так сидеть.

– Мой приятель, – сказал я девушке. – Товарищ по фронту. Единственный известный мне человек, который из большого несчастья сделал маленькое счастье. Он больше не знает, что ему делать со своей жизнью, и поэтому просто радуется тому, что жив.

Девушка задумчиво посмотрела на меня. Косой луч света упал на ее лоб и губы.

– Мне это так понятно, – сказала она.

Я посмотрел ей в глаза.

– Но этого не должно быть. Ведь вы слишком молоды.

Улыбка порхнула по ее лицу. Улыбались только глаза, а само лицо почти не изменилось, лишь как-то слегка осветилось изнутри.

– Слишком молода, – повторила она. – Так принято говорить. Но я думаю, слишком молодыми люди никогда не бывают. Только слишком старыми.

Я чуть помедлил с ответом.

– На это можно было бы многое возразить, – сказал я и знаком дал понять Фреду, чтобы он принес мне еще.

Девушка держала себя просто и непринужденно, я же казался себе рядом с ней чурбаном неотесанным. Ах, как было бы славно затеять сейчас легкий, игривый разговор – настоящий, который приходит в голову, уже когда остаешься один. Вот Ленц был на это мастак, у меня же вечно все получалось неуклюже и тяжеловесно. Недаром Готфрид любил повторять, что по части светской беседы я стою где-то на уровне писаря.

К счастью, Фред был догадлив. На сей раз вместо наперстка он принес мне изрядный бокал вина. И ему не нужно лишний раз бегать туда-сюда, и меньше заметно, сколько я пью. А не пить мне нельзя, без этого деревянной тяжести не преодолеть.

– Не хотите ли еще рюмочку мартини? – спросил я девушку.

– А что пьете вы?

– Это ром.

Она стала разглядывать мой бокал.

– В прошлый раз вы пили то же самое.

– Да, – сказал я, – ром я пью чаще всего.

Она покачала головой:

– Не могу себе представить, чтобы это было вкусно.

– А я так и вовсе не знаю, вкусно ли это.

Она посмотрела на меня.

– Зачем же вы пьете?

– Ром, – сказал я, радуясь, что наконец-то есть то, о чем я могу говорить, – ром вне измерений вкуса. Ведь это не просто напиток, это скорее друг. Друг, с которым легко. Он изменяет мир. Оттого-то люди и пьют его... – Я отодвинул бокал. – Но не заказать ли вам еще рюмку мартини?

– Лучше рома, – сказала она. – Хочется попробовать.

– Хорошо, – сказал я. – Но тогда не этот. Для начала он, пожалуй, слишком тяжел. Приноси-ка нам коктейль «Баккарди»! – крикнул я Фреду.

Фред принес рюмки. Вместе с ними он поставил вазочку с соленым миндалем и жареными кофейными зернами.

– Давай уж сюда всю бутылку, – сказал я.

Постепенно все обретало свой лад и толк. Неуверенность исчезала, слова рождались теперь сами собой, я даже перестал следить за тем, что говорю. Я продолжал пить и ощущал, как большая ласковая волна, накатив, подхватила меня, как пустые сумерки стали наполняться видениями, а над немymi, скудными низинами бытия потянулись безмолвные грезы. Стены бара отошли, расступились – и вот уже то был не бар, а укромный уголок мира, приют спасения, полутемный сказочный грот, вокруг которого бушевали вечные битвы хаоса, а внутри, сметенные сюда загадочной силой неверного времени, прятались мы.

Девушка сидела, съежившись на своем стуле, чужая и таинственная, словно ее занесло сюда откуда-то из другой жизни. Я что-то говорил и слышал свой голос, но чувство было такое, что это не я говорю, а кто-то другой, кем я мог бы, кем я хотел бы быть. Слова значили не совсем то, что обычно, они смещались, теснились, выталкивая друг друга в иные, более яркие и светлые края, куда не вписывались мелкие события моей жизни; я знал, что слова мои уже не были правдой, что они стали фантазией, ложью, но это теперь не имело значения – правда была безутешной и плоской, и лишь чувство и отблеск грез были истинной жизнью...

В медной бадье бара плавало солнце. Время от времени Валентин поднимал бокал и бормотал себе под нос какую-то дату. За окнами хищными вороньими вскриками автомобилей глухо катилась улица. Иногда крики улицы врывались и к нам – вместе с открываемой дверью. Кричала улица, как сварливая, завистливая старая карга.

Было уже темно, когда я проводил Патрицию Хольман. И медленно поплелся домой. Внезапно накатило чувство одиночества и опустошения. С неба сеялся мелкий дождик. Я остановился перед витриной. Да, выпито слишком много, я заметил это только теперь. Меня вовсе не шатало, но я это отчетливо осознал.

Я вдруг почувствовал жар. Расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Черт побери, опять меня развезло! Знать бы, что я ей наговорил! Страшно было даже припомнить. Да я и не мог ничего вспомнить, и это было самое ужасное. Здесь, на холодной, громяющей автобусами улице, все выглядело совершенно иначе, чем в полутьме бара. Я проклинал себя самого. Можно представить, какое впечатление я произвел на девушку! Она наверняка все заметила. Ведь она почти не пила. Прощаясь, она так странно на меня смотрела...

О Господи! Я круто повернулся. И при этом столкнулся с каким-то низкорослым толстяком.

– Ну? – сказал я с яростью.

– Раскройте глаза пошире, вы, чучело огородное! – пролаял толстяк.

Я уставился на него.

– Что, людей не видали, а? – продолжал он тявкать.

Его-то мне и доставало.

– Людей видал, – ответил я, – а вот чтобы по улице расхаживали пивные бочки – такое вижу впервые.

Толстяк не задержался с ответом ни на секунду. Раздувая щеки, он немедленно фыркнул:

– Знаете что? Ступайте в зоопарк! Сонным кенгуру не место на улице.

Я понял, что имею дело с бранных дел мастером. Нужно было вопреки скверному настроению спасти свою честь.

– Не сбейся с пути истинного, слабоумок недоношенный, – сказал я и поднял руку в знак благословения.

Он и ухом не повел.

– Залей мозги бетоном, горилла плешивая! – пролаял он.

Я отпарировал «выродком криволапым». Он – «попугаем занюханым». Тогда я выдал «безработного мойщика трупов». На что он, уже с некоторым уважением, отвесил: «Изъеденный раком бараний рог».

Чтобы добить его, я пустил в ход «ходячее кладбище бифштексов».

Его лицо внезапно прояснилось.

– Ходячее кладбище бифштексов! – воскликнул он. – Этого я еще не знал. Включу в свой репертуар! Пока!..

Он приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные взаимного уважения.

Перебранка освежила меня. Однако раздражение не исчезло. Оно даже усиливалось по мере того, как я трезвел. Я казался себе выкрученным мокрым полотенцем. Но постепенно это раздражение на себя самого перешло в раздражение на весь мир вообще – в том числе и на девушку. Ведь это из-за нее я напился. Я поднял воротник. Ну и пусть себе думает обо мне что хочет, теперь это мне безразлично – по крайней мере она с самого начала узнала, с кем имеет дело. А по мне, так и катись все к черту, – что случилось, то случилось. Все равно ничего не изменишь. Пожалуй, так даже лучше...

Я вернулся в бар и теперь уже напился по-настоящему.

IV

Погода стала теплой и влажной, дождь лил несколько дней подряд. Потом разведрилось, стало пригревать солнце. И вот, придя как-то в пятницу утром в мастерскую, я увидел во дворе Матильду Штосс с метелкой под мышкой и с физиономией блаженного бегемота.

– Какая роскошь, господин Локамп, вы только гляньте! Ну не чудо ли? Вот это настоящее чудо!

Я остолбенел от изумления. Старая слива у бензоколонки расцвела за одну ночь.

Она простояла всю зиму кривая и голая, мы вешали на ее ветви канистры и старые шины для просушки, она давно уже превратилась для нас не более чем в удобную вешалку для всякого хлама – от тряпок до автомобильных капотов; совсем недавно на ней развевались после стирки наши синие комбинезоны, вчера еще ничего нельзя было заметить, и вдруг за одну ночь слива преобразилась словно в сказке, окуталась бело-розовой дымкой, и эта светоносная кипень цветов походила на стаю бабочек, чудом залетевшую на наш грязный двор...

– А запах, запах-то какой! – сказала Матильда, мечтательно закатывая глаза. – Просто чудо! Все равно что ваш ром!

Никакого запаха я не чувствовал, но сразу понял, к чему она клонит.

– По-моему, больше похоже на коньяк для клиентов, – заметил я.

Она стала энергично возражать:

– Да что вы, господин Локамп, да вы, наверное, простужены. Или у вас полипы в носу. Полипы теперь почитай что у каждого. Нет уж, у старухи Штосс нюх что у гончей, уж будьте покойны, раз говорю ром – значит, ром...

– Ну, будь по-вашему, Матильда...

Я налил ей стопку рома и пошел к бензоколонке. Юпп уже сидел там. Перед ним была заржавленная консервная банка с воткнутыми в нее цветущими ветками.

– А это еще что такое? – спросил я с удивлением.

– Это для женского полу, – объяснил Юпп. – Когда они заправляются, то получают бесплатно по веточке. Благодаря чему я уже продал на девяносто литров больше обычного. Это золотое дерево, господин Локамп. Не будь его у нас, стоило бы сделать искусственное.

– Да ты, оказывается, деловой парнишка.

Он ухмыльнулся. Его уши просвечивали на солнце, как рубиновые витражи в церкви.

– И фотографировали меня тут, даже два раза, – сообщил он. – На фоне дерева.

– Гляди, еще станешь кинозвездой, – сказал я и пошел к смотровой щели, где Ленц вылезал как раз из-под «форда».

– Робби, – сказал он, – мне тут кое-что пришло в голову. Надо бы поинтересоваться, как там эта девушка, что была с Биндингом.

Я, обомлев, смотрел на него.

– Что ты имеешь в виду?

– Именно то, что сказал. Ну чего ты уставился?

– Я не уставился...

– Ты вытаращился. Кстати, как ее звали? Пат, а как дальше?

– Не знаю, – сказал я.

Он выпрямился.

– Не знаешь? Да ведь ты записывал ее адрес. Я сам видел.

– Я потерял эту бумажку.

– Потерял?! – Ленц запустил обе руки в соломенные джунгли на голове. – А для чего ж тогда я битый час торчал в саду с этим Биндингом? Он, видите ли, потерял! Но может, Отто помнит?

– Отто тоже не помнит.

Он взглянул на меня.

– Дилетант несчастный! Тем хуже для тебя! Раз ты так и не понял, что это была фантастическая девушка! О Господи! – Он поднял глаза в поднебесье. – В кои-то веки попадается на пути нечто стоящее – и этот нюня теряет адрес!

– Да она и не показалась мне такой уж привлекательной.

– Потому что ты осел, – заявил Ленц. – Болван, не имеющий представления ни о чем выше уровня шлюшек из «Интернационаля»! Эх ты, тапер! Говорю тебе еще раз: такая девушка – редкий подарок судьбы, редчайший! Э, да что ты согласишь? Ты хоть видел ее глаза? Ни черта ты не видел, кроме своей рюмки!

– Заткнись! – прервал я поток его речи, ибо последние слова его подействовали на меня как соль на открытую рану.

– А руки? – продолжал он, не обращая на меня внимания. – Узкие, длинные, как у мулатки, уж в этом-то Готфрид разбирается, можешь поверить! Святые угодники! В кои-то веки видишь девушку, у которой все как надо: хороша собой, естественна и, что самое важное, с атмосферой. Ты хоть знаешь, что такое атмосфера?

– Воздух, который накачивают в шины, – огрызнулся я.

– Разумеется, воздух, что ж еще! – сказал он, смешивая жалость с презрением. – Атмосфера, аура, излучение, теплота, тайна – это то, что только и способно оживить красоту, одушевить ее. Но что с тобой толковать, твоя атмосфера – это испарения рома...

– Слушай, кончай, а? – зарычал я. – Не то я уроню тебе что-нибудь на макушку!

Но Готфрид продолжал говорить, а я ничего ему не делал. Он ведь понятия не имел о том, что произошло, и не догадывался, насколько ранило меня каждое его слово. Особенно когда он вел речь о пьянстве. Я уже кое-как справился с этим, утешился и забыл, и вот теперь он берedit рану снова. А он все хвалил и хвалил девушку, так что зародил во мне в конце концов тоскливое чувство невозвратимой утраты.

В шесть часов я в расстроенных чувствах отправился в кафе «Интернациональ». Куда же деваться, как не в мое старое убежище, – вот и Ленц толкует о том же. К моему удивлению, я застал там признаки пышного празднества. На стойке теснились пироги и торты, а плоско-стопый Алоис как раз спешно ковылял с подрагивающими кофейниками на подносе в заднюю комнату. Я замер на месте. Кофе да еще кофейниками? Да что у них там, уж не пьяный ли ферейн¹ валяется под столами?

Однако хозяин кафе мне все объяснил. В задней комнате сегодня были проводы подруги Розы Лили. Я стукнул себя по лбу. Ну да, конечно, я ведь тоже приглашен! В качестве единственного мужчины к тому же, как многозначительно подчеркнула Роза; поскольку педераст Кики, также присутствовавший, был не в счет. Я быстро вышел снова на улицу и купил букет цветов, ананас, погремешку и плитку шоколада.

Роза встретила меня улыбкой великосветской дамы. Она восседала во главе стола в черном платье с глубоким вырезом. Золотые зубы ее сверкали. Я справился о здоровье малышки, вручая для нее целлулоидную игрушку и шоколад. Роза сияла.

Ананас и цветы предназначались Лили.

– От всей души желаю счастья!

¹ Союз, общество (нем.). – Примеч. ред.

– Он был и остается истинным кавалером! – сказала Роза. – Иди сюда, Робби, садись между нами.

Лили была лучшей подругой Розы. Она сделала блестящую карьеру. Она была тем, что является несбыточной грезой любой маленькой проститутки, – дамой из отеля. Дама из отеля не выходит на панель, она живет в гостинице и там заводит знакомства. Мало кому из проституток это удастся – не хватает ни гардероба, ни денег, на которые можно было бы жить, спокойно дожидаясь клиента. И хотя Лили жила только в провинциальных отелях, она накопила все же с течением лет около четырех тысяч марок. Теперь она надумала выйти замуж. Ее будущий муж имел небольшую ремонтную мастерскую. Он знал о ее прошлом, но оно ему было безразлично. О будущем он мог не тревожиться: если уж какая-нибудь из этих девиц выходила замуж, то женой она была верной. Она уже прошла огни и воды и была сыта ими по горло. На такую жену можно было положиться.

Свадьба Лили была назначена на понедельник. А сегодня Роза устраивала для нее прощальное кофепитие. Все собрались, чтобы в последний раз побыть вместе с Лили. После свадьбы она уж сюда не придет.

Роза налила мне чашку кофе. Алоис подскочил с огромным пирогом, украшенным изюмом, миндалем и зелеными цукатами. Роза положила мне увесистый кусок.

Я знал, что мне нужно было делать. Откусив с видом знатока от пирога, я изобразил на своем лице величайшее удивление:

– Черт побери! Пирог явно не из кондитерской!

– Сама испекла! – сказала счастливая Роза. Она великолепно готовила и любила, когда это признавали. Гуляш и вот этот пирог были ее коронными блюдами. Недаром же она была чешкой.

Я огляделся. Вот они сидят рядком – труженицы вертограда Господня, испытанные знатоки людских сердец, воительницы любви: красавица Валли, у которой недавно во время ночной автомобильной прогулки похитили горностаевую горжетку; одноногая Лина с протезом, все еще добывавшая себе любовников; стержовная Фрицци, которая любила плоскостопого Алоиса, хотя давно могла бы иметь собственную квартиру и жить на содержании дружка; краснощекая Марго, разгуливавшая в наряде горничной и тем привлекавшая элегантных кавалеров; и самая младшая – Марион, бездумная хохотушка; Кики, которого и за мужчину-то не считали, потому что ходил он в женском платье и красился; Мими, бедолага, которой все труднее давалось ремесло с ее-то сорока пятью годами и вздутыми венами на ногах; дальше сидели девицы из баров и ресторанов, которых я не знал, и, наконец, в качестве второго почетного гостя маленькая, седая, сморщенная, как мороженое яблоко, «мамаша» – наперсница, утешительница, покровительница всех ночных странниц, та «мамаша», что торгует по ночам сосисками на углу Николайштрассе, служа и ночным буфетом, и разменной кассой, та «мамаша», у которой, кроме ее франкфуртских сосисок, всегда можно тайком купить сигареты и презервативы, а в случае надобности и стрелнуть деньги.

Я знал, как нужно себя держать. Ни слова о делах, никаких грубых намеков; сегодня нужно забыть обо всем – и о необычайных способностях Розы, принесших ей кличку Железный Конь, и о своеобразных диспутах на любовную тему, которые вели между собой скототорговец Стефан Григоляйт и Фрицци, и о предрассветных плясках Кики. Беседа, которая здесь лилась, была достойна любого дамского круга.

– Ну как, все уже приготовлено, Лили? – спросил я.

Она кивнула:

– Приданым я уже давно запаслась.

– Приданое – чудо, – сказала Роза. – Есть даже кружевные салфетки.

– А зачем нужны кружевные салфетки? – спросил я.

– Да ты что, Робби! – Роза посмотрела на меня с такой укоризной, что я немедленно заявил, будто вспомнил. Ах да, кружевные салфетки, как же, как же, ведь это они, стражи мебели, были символом мещанского уюта, священным символом брака, утраченного рая. Ведь никто из девиц не был проституткой по складу своего темперамента, все они были жертвами краха обывательского существования. Их заветной мечтой была супружеская постель, а не ложе порока. Но они никогда не признались бы в этом.

Я сел за пианино. Роза уже давно ожидала этого. Она обожала музыку, как и все девицы. На прощание я еще раз сыграл все ее и Лили любимые песни. Для начала – «Молитву девы». Название, правда, не слишком соответствовало заведению, но на самом деле то была лишь бра-вурная пьеска с надрывом. Затем последовали «Вечерняя песня птички», «Альпийские зори», «Когда умирает любовь», «Миллионы Арлекина» и под конец – «Тоска по родине». Ее особенно любила Роза. Ведь проститутки – самые закаленные, но и самые сентиментальные существа на свете. Все дружно пели. Педераст Кики – вторым голосом.

Лили стала собираться. Ей еще нужно было заехать за женихом. Роза пылко расцеловала подругу.

– Счастливо, Лили. Смотри только не поддавайся ему!

Наконец Лили, нагруженная подарками, ушла. У нее было совершенно другое лицо, чем всегда. Разрази меня гром, если это не так. Резкие линии, прорывающиеся у каждого, кто сталкивается с человеческой подлостью, словно бы стерлись, черты стали мягче, в лице действительно появилось что-то девическое.

Мы стояли в дверях и махали вслед Лили. Внезапно Мими разревелась. Когда-то и она была замужем. Ее муж умер на фронте от воспаления легких. Если бы он погиб, она бы получила небольшое пособие и не очутилась бы на улице.

Роза похлопала ее по спине.

– Ну-ну, Мими, только не раскисай! Пойдем-ка выпьем еще по чашечке кофе.

Вся компания, как стая кур в курятник, вернулась в полутемный «Интернациональ». Но прежнего веселья уже как не бывало.

– Сыграй нам что-нибудь на прощание, Робби! – попросила Роза. – Чтобы поднять настроение!

– Идет, – ответил я. – Давай-ка сбацием «Марш ветеранов».

Потом распрощался и я. Роза сунула мне напоследок кулек с пирогами. Я отдал его «мамашиному» сынку, который уже устанавливал на ночь котел с сосисками.

Я раздумывал, что предпринять. Идти в бар не хотелось ни под каким видом, в кино тоже. В мастерскую? Я нерешительно взглянул на часы. Восемь. Кестер, должно быть, уже вернулся. А при нем Ленц не станет часами трепаться о той девушке. И я отправился в мастерскую.

Сарай наш светился. И не только он – весь двор был залит светом, Кестер был один.

– Что это за дела, Отто? – спросил я. – Неужто ты продал «кадиллак»?

Кестер засмеялся:

– Нет, это Готфрид устроил иллюминацию.

Обе фары «кадиллака» горели. Машина была поставлена так, чтобы снопы света падали через окна прямо на цветущую сливу. Белая как мел, она выглядела волшебным образом. А вокруг нее темнота разливалась свои черные волны.

– Великолепно, – сказал я. – А где он сам?

– Пошел принести что-нибудь поесть.

– Блестящая идея, – сказал я. – А то у меня что-то кружится голова. Может, это просто от голода.

Кестер кивнул:

– Поесть всегда не мешает. Железное правило всех старых вояк. Сегодня, кажется, и у меня голова закружилась. Заявил, знаешь ли, «Карла» на гонки.

– Что? – спросил я. – Неужели на шестое?

Отто кивнул.

– Черт возьми, Отто, но там же стартуют одни асы.

Он опять кивнул:

– В классе спортивных машин даже сам Браумюллер.

Я засучил рукава.

– Ну тогда за дело, Отто. Искушаем-ка нашего любимца в масле.

– Стоп! – крикнул в этот момент, входя, последний романтик. – Кормежка прежде всего!

И он выложил принесенное на ужин – сыр, хлеб, сухую копченую колбасу и шпроты. Все это мы запивали отменным холодным пивом. Ели мы, как бригада изголодавшихся косарей. А потом взялись за «Карла». Провозились с ним часа два, простучали и смазали каждый подшипник. После этого мы с Ленцем поужинали вторично. Ленц включил еще и единственную фару «форда», случайно уцелевшую после столкновения. С вогнутого шасси она косым лучом била в небо.

Довольный Ленц повернулся ко мне.

– А теперь, Робби, тащи-ка бутылки. Отметим «праздник цветущего дерева».

Я поставил на стол коньяк, джин и два стакана.

– А себе? – спросил Готфрид.

– Я пить не буду.

– Что такое? С чего это вдруг?

– Не испытываю больше удовольствия от этой проклятой пьянки.

Какое-то время Ленц разглядывал меня.

– Наш мальчик, похоже, рехнулся, Отто, – сказал он затем Кестеру.

– Оставь его, раз он не хочет, – ответил Кестер.

Ленц налил себе полный стакан.

– Он уже несколько дней не в себе.

– Ничего, бывает и хуже, – сказал я.

Над крышей фабрики напротив нас встала большая и красная луна. Какое-то время мы сидели молча. Потом я спросил:

– Послушай, Готфрид, ты ведь у нас спец по любовной части, не так ли?

– Спец? Да я в этих делах гроссмейстер, – скромно заметил Ленц.

– Вот и отлично. Тогда скажи, всегда ли при этом ведут себя по-дурацки?

– То есть как это по-дурацки?

– Ну так, как будто ты все время под мухой. Болтаешь, несешь всякую чушь, завираешься.

Ленц расхохотался.

– Деточка моя! Ну как же при этом не завираться? Ведь все это и есть вранье. Чудесное вранье самой мамыши-природы. Взгляни хоть на эту сливу! Она ведь тоже сейчас привирает. Притворяется куда более красивой, чем окажется потом. Было бы ужасно, если бы любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава Богу, что не все на свете порабощено этими проклятыми моралистами.

Я поднялся.

– Так ты думаешь, без некоторого привирания в этом деле не обойтись?

– Никак не обойтись, детка.

– Но ведь при этом ставишь себя в идиотское положение.

Ленц ослабился.

– Заруби себе на носу, малыш: никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не покажется женщине идиотом тот, кто усердствует ради нее. Даже если он ведет себя как шут гороховый. Делай что хочешь – стой на голове, неси околесицу, хвастай, как павиан, пой у нее под окнами, избегай только одного – не будь деловым! Не будь умником!

Я оживился.

– А ты как думаешь, Отто?

Кестер рассмеялся.

– Пожалуй, он прав.

Кестер встал и открыл капот «Карла». Я достал бутылку рома и еще один стакан и поставил все это на стол. Отто запустил мотор, заурчавший сдержанным басом. Ленц смотрел в окно, взгромоздив ноги на подоконник. Я подсел к нему.

– Ты когда-нибудь напивался в присутствии женщины?

– И не раз, – ответил он не шевелясь.

– Ну и как?

Он скосил на меня глаза.

– Ты хочешь сказать, как быть, если наломал при этом дровишек? Только не извиняться, детка. Вообще никаких слов. Послать цветы. Без записки. Одни цветы. Они все покрывают. Даже могилы.

Я посмотрел на него. Он был неподвижен. В его глазах отражались сверкающие огоньки. Мотор все еще работал, тихо урча; казалось, под нами подрагивает земля.

– Что ж, теперь, пожалуй, и я бы выпил, – сказал я, откупоривая бутылку.

Кестер выключил мотор. Потом обратился к Ленцу:

– Луна светит достаточно ярко, чтобы увидеть стакан, Готфрид. Так что выключи иллюминацию. Особенно этот косой прожектор на «форде». Слишком уж напоминает войну. Бывало не до шуток, когда эти твари вцепятся в твой самолет.

Ленц согласно кивнул:

– А мне они напоминают... Впрочем, это не важно. – Он встал и выключил фары.

Тем временем луна над фабрикой поднялась еще выше. Она становилась все ярче и уже походила на желтый фонарь, висящий на сучке сливы. Ветви дерева слабо покачивались на тихом ветру.

– Люди ведут себя странно, – сказал немного погодя Ленц, – ставят памятники себе подобным. А почему бы не поставить памятник луне или цветущему дереву?

Я рано ушел домой. Открыв дверь в коридор, услышал музыку. Играл патефон Эрны Бениг, секретарши. Тихо пел чистый женский голос. Потом приглушенно защибетали скрипки, за ними – пиццикато на банджо. И снова тот же голос, проникновенный, мягкий, словно переполненный счастьем. Я прислушался, стараясь разобрать слова. То, что пела эта женщина, звучало необыкновенно трогательно именно здесь, в полутемном коридоре, между швейной машинкой фрау Бендер и чемоданами семейства Хассе.

Я глядел на чучело кабаньей головы над кухонной дверью. Было слышно, как за ней гремит посудой служанка. «И как могла я жить без тебя?..» – доносилось из-за другой двери, двумя шагами дальше.

Пожав плечами, я направился к своей комнате.

Рядом раздавались возбужденные крики. Вскоре послышался стук в дверь и вошел Хассе.

– Не помешаю? – спросил он устало.

– Ничуть, – ответил я. – Не желаете ли рюмочку?

– Лучше не надо. Посижу только немного.

Взгляд у него был пустой и потухший.

– Хорошо вам, – сказал он. – Вы-то один.

– Ерунда, – возразил я. – Когда торчишь целыми днями один как сыч, это тоже, знаете ли, не сахар. Уж вы мне поверьте.

Он понуро сидел в кресле. Глаза стеклянно поблескивали в неверном свете фонарей за окном. Узкие плечи поникли...

– Да, не так я себе представлял жизнь, не так, – сказал он немного погодя.

– Ну, это относится ко всем нам, – ответил я.

Через полчаса он ушел – налаживать отношения с женой. Я отдал ему кипу газет и полбутылки ликера «Кюрасао», с незапамятных времен пылившегося у меня на шкафу, – неприятная сладковатая дрянь, но для него как раз то, что нужно. Он все равно ничего не смыслил в этом.

Хассе удалился тихо, почти беззвучно, тень тенью – словно растворился. Я запер за ним дверь. На мгновение – будто кто взмахнул пестрым платком – в комнату ворвались обрывки музыки: приглушенные звуки скрипки, банджо, «И как я жить могла без тебя?..»

Я сел к окну. Кладбище было залито голубым лунным светом. Сверкающие буквы реклам скакали по верхушкам деревьев, а внизу во тьме мерцали мраморные надгробия. В их безмолвии не было ничего страшного. Близко-близко от них, сигналивая, проносились автомобили, скользя светом фар по стертые от времени строкам эпитафий.

Я присидел так довольно долго, думая о всякой всячине. Среди прочего и о том, какими мы тогда вернулись с войны – молодыми, но уже изверившимися, как шахтеры из обвалившейся шахты. Мы хотели сражаться с ложью, себялюбием, бессердечием, корыстью – со всем тем, что было повинно в нашем прошлом, что сделало нас черствыми, жесткими, лишило всякой веры, кроме веры в локоть товарища и в то, что нас никогда не обманывало, – в небо, табак, деревья, хлеб, землю; но что из всего этого вышло? Все рушилось на глазах, предавалось забвению, извращалось. А тому, кто хранил верность памяти, выпадали на долю бессилие, отчаяние, равнодушие и алкоголь. Время великих и смелых мечтаний миновало. Торжествовали деляги, коррупция, нищета.

«Хорошо вам, вы-то один», – сказал Хассе. Звучит превосходно: кто одинок, тот не будет покинут. Но иногда вечерами рушился этот карточный домик, и жизнь оборачивалась мелодией совсем иной – преследующей рыданиями, взметающей дикие вихри тоски, желаний, недовольства, надежды – надежды вырваться из этой одуряющей бессмыслицы, из бессмысленного кручения этой вечной шарманки, вырваться безразлично куда. Ах, эта жалкая наша потребность в толике теплоты; две руки да склонившееся к тебе лицо – это ли, оно ли? Или тоже обман, а стало быть, отступление и бегство? Есть ли на свете что-нибудь, кроме одиночества?

Я закрыл окно. Нет, ничего другого нет. Для другого у человека слишком мало почвы под ногами.

Все же на следующее утро я вышел из дома чуть свет и по дороге в мастерскую немилосердным грохотом вытащил из постели владельца цветочной лавки. Я выбрал букет роз и велел его немедленно отослать по адресу. Мной владело странное чувство, когда я выводил на карточке слова: Патриция Хольман.

V

Надев свой самый старый костюм, Кестер уехал в финансовое управление добиваться, чтобы нам снизили налог. Мы остались в мастерской вдвоем с Ленцем.

– Ну, Готфрид, вперед, – сказал я, – в атаку на этого толстяка по имени «кадиллак».

Накануне вечером было напечатано наше объявление. Стало быть, уже сегодня можно было рассчитывать на покупателей – если они вообще появятся. Нужно было подготовить машину.

Для начала мы освежили полировку. Машина засверкала и выглядела уже на добрую сотню марок дороже. Затем мы залили в мотор масло, самое густое, какое только нашлось. Цилиндры были уже не самого первого класса и немного стучали. Густой смазкой удалось это сгладить, машина скользила на удивление бесшумно. Коробку скоростей и дифференциал мы также залили погуще, чтобы и они не издавали ни звука.

Потом мы выехали. Поблизости был кусок очень плохой дороги. Мы прошли по нему со скоростью пятьдесят километров. Шасси постукивали. Мы выпустили четверть атмосферы из баллонов и сделали еще одну попытку. Стало получше. Тогда мы выпустили еще столько же. Теперь уже ничего не болталось.

Мы вернулись, смазали поскрипывавший капот, проложили его кое-где резиной, залили в радиатор горячей воды, чтобы мотор запускался порезвее, потом еще опрыскали машину снизу керосиновым распылителем, чтобы она и там блестела. После всего этого Готфрид Ленц воздел руки к небу:

– Приди же, благословенный покупатель! Приди, любезный бумажничконосец! Взыскуем тебя, что жених невесту!

Однако невеста заставляла себя ждать. Поэтому мы вкатили на яму булочникову стальную лошадку и стали снимать переднюю ось. Долго возились с ней, скупно перебрасываясь словами. Потом я услышал, как Юпп у бензоколонки насвистывает песенку: «Глянь-ка, глянь-ка, кто идет...»

Я выбрался из ямы и посмотрел через стекло кабины. Вокруг «кадиллака» бродил какой-то коренастый коротыш. Выглядел он как уважаемый буржуа.

– Взгляни-ка, Готфрид, – прошептал я, – не невеста ли?

– Ясное дело, она, – удостоверившись, сразу же сказал Ленц. – Морда-то, морда-то одна чего стоит. Какое на ней написано недоверие! А ведь он еще не знает, с кем ему иметь дело. Вперед, Робби, в атаку! Я останусь здесь как резерв. Выдвинусь, если не сладишь. Не забывай о моих приемчиках!

– Ладно.

Я вышел во двор. Незнакомец встретил меня взглядом пронизательных черных глаз. Я представился:

– Локамп.

– Блюменталь.

Первый приемчик Ленца состоял в том, чтобы представиться. Он утверждал, что так сразу возникает более интимная атмосфера. Второй заключался в том, чтобы начать издали, дать выговориться клиенту, потом перейти в атаку самому уже в самый подходящий момент.

– Вы по поводу «кадиллака», господин Блюменталь? – спросил я.

Блюменталь кивнул.

– Вот он, – сказал я, указывая на машину.

– Вижу, – возразил Блюменталь.

Я скользнул по нему взглядом. «Внимание! – пронеслось у меня в мозгу. – Малый непрост!»

Мы прошли через двор к «кадиллаку», я открыл дверцу, запустил мотор. Помолчал, давая Блюменталю время для осмотра. Наверняка он начнет что-нибудь критиковать, вот тогда-то я и включусь.

Однако Блюменталь ничего не осматривал и не критиковал. Он тоже молчал и стоял истукан истуканом. Мне не оставалось ничего другого, как пуститься в плавание на авось.

И я стал медленно и подробно описывать «кадиллак», как мать своего ребенка, пытаюсь выяснить при этом, насколько он разбирается в деле. Если он знаток, нужно больше внимания уделить мотору и шасси, нет – расписывать удобства и финтифлюшки.

Но он и тут ничем себя не выдал. Он предоставил мне возможность говорить и говорить, пока я сам не почувствовал, что скоро из меня выйдет весь пар.

– А для чего именно нужна вам машина? Для поездок по городу? Или для дальних путешествий? – спросил я наконец, чтобы хоть за что-нибудь зацепиться.

– Там видно будет, – отвечал Блюменталь.

– Так-так! А кто будет ездить – вы сами или шофер?

– Смотря по обстоятельствам.

«Смотря по обстоятельствам». Этот тип выдавал ответы как попугай. Он, как видно, принадлежал к ордену молчаливых.

Чтобы как-то расшевелить его, я предложил ему пощупать все своими руками. Обычно это делает покупателей общительнее. Я боялся, что он у меня заснет.

– Верх для такой большой машины поднимается и опускается с необыкновенной легкостью, – сказал я. – Попробуйте сами его опустить. Справитесь одной рукой.

Но Блюменталь посчитал и это излишним. Он и так все видит. Я с силой захлопывал дверцы, дергал ручки.

– Видите, ничего не болтается. Держится, как налоги. Проверьте сами.

Блюменталь не желал ничего проверять. Он находил все это в порядке вещей. Чертовски твердый орешек.

Я продемонстрировал ему боковые стекла.

– Ходят вверх и вниз, как игрушка. Закрепляются на любом уровне.

Он не повел и бровью.

– К тому же стекло небьющееся, – добавил я, начиная отчаиваться. – Неоценимое преимущество! Вот тут у нас в мастерской один «форд»... – И я рассказал про несчастную жену булочника и даже приукрасил эту историю, отправив на тот свет еще и ребенка.

Однако душа у Блюменталья была неуязвима, как сейф.

– Небьющееся стекло теперь во всех машинах, – прервал он меня, – в этом нет ничего особенного.

– Ни в одной машине серийного производства нет небьющегося стекла, – возразил я мягко, но решительно. – Лишь в некоторых моделях оно используется как лобовое стекло. Но ни в коем случае как боковое.

Я посигналил и перешел к описанию комфортабельного интерьера – багажника, сидений, карманов, приборной панели; я не упустил ни единой детали, даже вынул и протянул Блюменталю зажигалку, а заодно предложил ему сигарету, чтобы хоть как-то его переубедить, – но он отклонил и это.

– Не курю, спасибо, – проговорил он, посмотрев на меня с такой скукой, что у меня вдруг зародилось подозрение: а к нам ли он вообще шел, может, он тут по ошибке, может, он хотел купить что-то другое, какую-нибудь машину для пришивания пуговиц или радиоаппарат, а теперь вот мнется и не знает, как ему смыться?

– Давайте сделаем пробную поездку, господин Блюменталь, – предложил я наконец, чувствуя себя уже на последнем издыхании.

– Поездку? – переспросил он с таким недоумением, будто я произнес слово «поезд».

– Да, поездку. Надо же вам удостовериться в том, что машина многое может. Она просто стелется по дороге, мчит как по рельсам. Мотор тянет так, словно это не тяжелый кабриолет, а пуховая перина.

– Ох уж эти пробные поездки, – пренебрежительно махнул он рукой, – они ничего не показывают. Все недостатки машины выплывают потом.

Ну разумеется, потом, дьявол ты чугуноголовый, или ты думаешь, я буду тыкать тебя носом в эти недостатки уже теперь? Я закипал от злости.

– Ну, на нет и суда нет, – сказал я, потеряв надежду. Покупать он не хотел, это было ясно.

Но тут он вдруг обернулся и, глядя мне прямо в глаза, тихим голосом, но резко и быстро спросил:

– Сколько стоит машина?

– Семь тысяч марок, – не моргнув глазом ответил я, словно выстрелил из пистолета. Такому, как он, нельзя выказывать и малейшую нерешительность, это я знал. Каждая секунда колебаний обошлась бы в тысячу марок, уж он бы ее выторговал. – Семь тысяч марок чистыми, – повторил я твердым голосом, а про себя подумал: «Предложишь пять – и она твоя».

Однако Блюменталь не предлагал ничего. Он только коротко фыркнул.

– Слишком дорого!

– Ну конечно! – сказал я, прощаясь с последней надеждой.

– Почему «конечно»? – неожиданно спросил Блюменталь с ноткой живого интереса.

– Господин Блюменталь, – ответствовал я, – разве вы встречали в наши дни человека, который реагировал бы на цены иначе?

Он внимательно посмотрел на меня. На лице его мелькнуло что-то вроде улыбки.

– Это верно. И тем не менее цена машины слишком высока.

Я не верил своим ушам. Наконец-то прорезался истинный тон! Тон азартного интереса! Или то был очередной коварный маневр?

В это мгновение в воротах показался какой-то элегантный щеголь. Он вынул из кармана газету, еще раз сличил с ней номер дома и направился ко мне.

– Здесь ли продается «кадиллак»?

Я кивнул и, опешив, уставился на бамбуковую трость и кожаные перчатки пижона.

– Могу я взглянуть на него? – невозмутимо продолжал тот.

– Вот он, – сказал я, – но не будете ли вы так любезны немного подождать, я сейчас занят. Прошу вас, пройдите пока в помещение.

Щеголь некоторое время прислушивался к шуму мотора, придавая своему лицу сначала недовольное, потом все более одобрительное выражение, и наконец дал увести себя в мастерскую.

– Идиот! – зашипел я на него и поспешил вернуться к Блюменталю. – Стоит вам проехаться разок на машине, и вы иначе станете относиться к цене. Можете испытывать ее сколько пожелаете. Если вам сейчас некогда, то я могу заехать за вами вечером, и мы совершим пробную поездку.

Но его мимолетный порыв уже улетучился. Блюменталь снова принял позу по меньшей мере президента певческой ассоциации, изваянного из гранита.

– Ах, оставьте, – сказал он. – Мне пора идти. Если я захочу предпринять пробный выезд, то я ведь смогу позвонить вам.

Я понял, что дальнейшие усилия пока бесполезны. Этого не уговоришь.

– Хорошо, – сказал я. – Но может быть, вы дадите мне свой телефон, чтобы я мог известить вас, если кто-нибудь еще будет интересоваться машиной?

Блюменталь как-то странно посмотрел на меня.

– Интересоваться – еще не значит покупать.

Он вытащил коробку с сигарами и предложил мне. Вдруг выяснилось, что он курит. И даже «Корону» – денег у него, видно, куры не клюют. Но мне это было уже безразлично. Сигару я взял. Он любезно подал мне руку на прощание и ушел. Я смотрел ему вслед, тихо, но основательно чертыхаясь. Потом вернулся в мастерскую.

– Ну как? – встретил меня щеголь по имени Готфрид Ленц. – Каково я все это проделал? Смотрел, смотрел, как ты надрываешься, и решил пособить. Благо Отто, переодевшись, оставил тут свой шикарный костюм! Мигом влезаю в него, выпрыгиваю в окошко и заявляюсь во двор, как заправский покупатель! Ловко, а?

– Бездарно и глупо! – возразил я. – Он хитрее нас с тобой, вместе взятых. Взгляни, какие он курит сигары. Полторы марки штука! Ты спугнул миллиардера.

Готфрид отнял у меня сигару, обнюхал ее и зажег.

– Если я кого и спугнул, то мошенника. Миллиардеры не курят таких сигар. Они курят грошовые.

– Чушь, – сказал я. – Мошенник не станет называть себя Блюменталем. Мошенник представится графом Блюменау или что-нибудь в этом духе.

– Он вернется, – заявил не унывающий, как всегда, Ленц и выдохнул мне в лицо дым моей же сигары.

– Этот не вернется, – сказал я убежденно. – Но где это ты раздобыл бамбуковую трость и перчатки?

– Одолжил. В магазине «Бенн и Ко». У меня там знакомая продавщица. Трость я, пожалуй, себе оставляю. Она мне нравится. – И он с самодовольным видом стал крутить в воздухе толстую палку.

– Готфрид, – сказал я. – Здесь ты гробишь свои таланты. Знаешь что? Шел бы ты в варьете. Вот где тебе место.

– Вам звонили, – сказала Фрида, косоглазая служанка фрау Залевски, когда я днем забежал на минутку домой.

Я обернулся к ней.

– Когда?

– Да с полчаса назад. Какая-то дама.

– И что она сказала?

– Что позвонит еще вечером. Ну так я ей прямо сказала, что толку не будет, что вечерами вас дома не бывает.

Я остолбенел.

– Что? Вы так и сказали? О Господи, научат вас когда-нибудь разговаривать по телефону?

– Я умею разговаривать по телефону, – с напыщенным достоинством произнесла Фрида. – А по вечерам вас дома действительно почти никогда не бывает.

– Не ваше дело! – в сердцах крикнул я. – В другой раз вы еще расскажете, что у меня носки дырявые.

– Могу рассказать и про это, – обдала меня ядом Фрида, зыркнув красноватыми, воспаленными глазами. Мы давно с ней враждовали.

У меня чесались руки ткнуть ее физиономией в кастрюлю с супом, но вместо этого, совладав с собой, я сунул ей марку и спросил примирительным тоном:

– Эта дама не назвала себя?

– Не-а, – ответила Фрида.

– А голос у нее какой? Такой глуховатый и низкий, вроде как слегка охрипший, да?

– Да не помню я, – сказала Фрида с таким равнодушием, будто я и не давал ей марки.

– Какое миленькое у вас колечко, право, восхитительное, – вставил я. – Ну подумайте хорошенько, может, все-таки вспомните, а?

– Не-а, – ответила Фрида, пыща самодовольным злорадством.

– Ну так походи и повесься, метелка чертова! – выпалил я и хлопнул дверью.

Вечером, ровно в шесть, я был уже дома. Когда я отпер дверь, то застал необычную картину. В коридоре вокруг фрау Бендер, ясельной сестрички, столпились все женщины нашей квартиры.

– Идите-ка сюда, – позвала меня фрау Залевски.

Причиной сборища был весь увитый лентами полугодовалый младенец. Фрау Бендер привезла его из своего пансиона в коляске. Ребенок был самый обыкновенный, но дамы тетешкали его с таким безумным восторгом, будто это было первое дитя, появившееся на белый свет. Они и ворковали, и щелкали пальцами над личиком маленького существа, и делали губы бантиком. Даже Эрна Бениг в своем кимоно с драконами принимала участие в этой оргии платонического изъявления материнства.

– Ну разве не прелесть? – спросила меня фрау Залевски с умилением.

– Об этом можно будет судить лет через двадцать – тридцать, – ответил я и покосился на телефон. Оставалось надеяться, что он не зазвонит сейчас, когда тут такое столпотворение.

– Да вы посмотрите на него хорошенько, – призвала меня фрау Хассе.

Я посмотрел. Младенец как младенец. Ничего особенного в нем я не обнаружил. Разве что поразительно крохотные ручки. И потом, конечно, это странное чувство – что и сам ты был когда-то таким.

– Несчастный червячок, – сказал я, – знал бы он, что ему предстоит. На какую войну он поспеет – вот что интересно.

– Экий чурбан! – воскликнула фрау Залевски. – Неужели у вас нет никаких чувств?

– Напротив, их у меня превеликое множество, – возразил я. – Иначе у меня не было бы таких мыслей. – С этими словами я ретировался в свою комнату.

Минут через десять раздался телефонный звонок. Услышав свое имя, я вышел. Так и есть, все общество еще здесь! Не шелохнулось оно и тогда, когда я, прижав трубку к уху, стал слушать, как Патриция Хольман своим характерным голосом благодарит меня за цветы. В эту минуту младенец, у которого ума, вероятно, было больше, чем у всех остальных, и которому надоело это обезьянье кривлянье, внезапно начал реветь.

– Простите, я ничего не слышу, – отчаянным голосом сказал я в трубку, – тут вопит младенец, но это не мой.

Чтобы успокоить орущее существо, дамы зашипели, как клубок змей. Но достигли только того, что он заорал еще пуще. Лишь теперь я догадался, что ребенок был и впрямь необыкновенный: легкие у него, должно быть, доставали до бедер, иначе как объяснить, откуда такой оглушительный голос. Я был в затруднительном положении: глазами метал молнии в скопление непутевых мамаш, ртом лепетал что-то любезное в трубку – от темени и до носа я был воплощением грозы, от носа до подбородка – сияющим майским полднем. Чудо, как это в таких обстоятельствах мне удалось договориться о встрече на следующий вечер.

– Вам надо установить здесь звуконепроницаемую телефонную будку, – сказал я хозяйке. Но она была не из тех, кто лезет за словом в карман.

– Что так? – спросила она, сверкая глазами. – Неужели приходится так много скрывать?

Я промолчал и стушевался. С возбужденными материнскими чувствами не поспоришь. За них горой стоит мораль всего мира.

На вечер у нас была назначена встреча у Готфрида. Перекусив в небольшой забегаловке, я пошел к нему. По дороге купил в одном из самых изысканных магазинов мужской одежды

роскошный новый галстук. Я все еще был потрясен тем, как легко все налаживалось, и дал себе обет быть завтра серьезным, как директор похоронной конторы.

Логово Готфрида было своего рода достопримечательностью. Оно было сплошь увешано сувенирами, привезенными из странствий по Южной Америке. На стенах пестрые соломенные циновки, маски, высушенный человеческий череп, глиняные кувшины причудливых форм, копья и главное сокровище – великолепные фотографии, занимавшие целую стену: индианки и креолки, красивые, шоколадные, податливые зверьки, необычайно грациозные и небрежные.

Кроме Ленца и Кестера, там были еще Браумюллер и Грау. Тео Браумюллер, примостившись на валике дивана и выставив обгоревшую на солнце медную плешь, с воодушевлением разглядывал Готфридовы фотографии. Он был шофером-испытателем на одном автозаводе и с давних пор дружил с Кестером. Шестого он примет участие в тех самых гонках, на которые Отто заявил нашего «Карла».

Фердинанд Грау сидел за столом обвалившейся глыбой, он был заметно пьян. Увидев меня, он простер свою огромную лапищу и притянул меня к себе.

– Робби, – сказал он хрипло, – ты-то что делаешь среди нас, пропащих? Что ты здесь потерял? Уходи, спасайся. Ты еще можешь спастись!

Я посмотрел на Ленца. Тот подмигнул мне.

– Фердинанд сильно на взводе. Он уже второй день пропивает одну дорогую покойницу. Продал портрет и сразу получил деньги.

Фердинанд Грау был художником. При этом, однако, он давно умер бы от голода, если бы не специализировался на портретах усопших, которые он по заказу скорбящих родственников писал с невероятным сходством. Этим он жил – и даже весьма неплохо. А его замечательные пейзажи никто не покупал. Оттого-то в его разговорах преобладала пессимистическая тональность.

– На сей раз трактирщик, Робби, – сказал он, – трактирщик, у которого померла тетка с капиталом, помещенным в уксус и масло. – Он передернулся. – Жуть!

– Послушай, Фердинанд, – заметил Ленц, – зачем ты бранишься? Ты ведь кормишься одним из самых прекрасных человеческих свойств – почтительностью.

– Глупости, – возразил Фердинанд, – я кормлюсь чувством вины. Человек чувствует себя виноватым перед ближним – вот и вся почтительность. Хочет оправдаться за то, что причинил или хотел причинить покойнику при его жизни. – Он не спеша погладил свою сверкающую лысину. – Нетрудно себе представить, сколько раз трактирщик желал своей тетке, чтоб она сдохла, – зато теперь он заказывает ее портрет самых нежных тонов и вешает его над диваном. Теперь он души в ней не чает. Почтительность! Человек вспоминает о скудном запасе своих добродетелей тогда, когда уже поздно. И приходит в умиление, думая о том, каким он мог быть благородным, и считает себя воплощенной порядочностью. Порядочность, доброта, благопристойность... – Он махнул своей огромной ручищей. – Все это хорошо у других – тогда легче водить их за нос.

Ленц ухмыльнулся:

– Ты сотрясаешь устои людского общежития, Фердинанд!

– Устои людского общежития – это корысть, страх и продажность, – парировал Грау. – Человек зол, но любит добро, когда его делают другие. – Он протянул свой стакан Ленцу. – Ну вот, налей-ка мне теперь и кончай травить весь вечер баланду, а то ты никому не даешь сказать ни словечка.

Я перелез через диван поближе к Кестеру. Меня вдруг осенила одна идея.

– Ты должен выручить меня, Отто. Завтра вечером мне нужен «кадиллак».

Браумюллер оторвался от усердного изучения достоинств одной скудно одетой танцовщицы-креолки.

– А ты что, уже научился поворачивать? – поинтересовался он. – До сих пор я думал, что ты умеешь ездить только по прямой, да и то если кто-нибудь другой держит баранку.

– Помалкивай, Тео, – ответил я, – шестого числа на гонках мы из тебя сделаем котлету. Браумюллер захлебнулся от хохота.

– Ну так как, Отто? – спросил я, весь напрягшись.

– Машина не застрахована, Робби, – сказал Кестер.

– Я буду ползти, как улитка, и дудеть, как автобус в деревне. Да и всей езды-то будет несколько километров по городу.

От улыбки глаза Отто превратились в узенькие щелки.

– Ладно, Робби, я не против.

– Не к новому ли галстуку понадобилась тебе машина? – спросил подошедший Ленц.

– Заткнись! – сказал я, пытаюсь отодвинуть его в сторону.

Но он не отставал.

– Ну-ка, ну-ка, детка! Дай поглядеть!

Он пощупал пальцами шелк.

– Блеск! Наше дитя в роли жиголо. Да ты никак собрался на смотрины невесты?

– Отстань, ты, гений перевоплощения. Сегодня тебе не удастся меня разозлить, – сказал я.

– На смотрины? – поднял голову Фердинанд Грау. – А почему бы ему и не присмотреть себе невесту? – Он явно оживился и повернулся ко мне. – Действуй, Робби. У тебя еще есть все для этого. То бишь наивность. А именно она-то и надобна для любви. Храни ее. Она дар Божий. Утратив – не вернешь никогда.

– Не слишком-то развешивай уши, малыш, – хмыкнул Ленц. – Помни: дураком родиться – это еще не позор. Зато дураком умереть...

– Помолчи, Готфрид. – Грау сгреб его своей ручищей. – Не о тебе ведь речь, ты, обозный романтик. Тебя не жалко.

– Ну-ну, интересно послушать, – сказал Ленц. – Давай уж, облегчи душу признанием.

– Ты пустозвон, – заявил Грау, – пустозвон и краснобай.

– Как и все мы, – ухмыльнулся Ленц. – Ведь мы живем иллюзиями и долгами.

– Истинно так, – сказал Грау, оглядывая нас всех по очереди из-под своих кустистых бровей. – Иллюзии достались нам от прошлого, а долги идут в счет будущего. – Затем он снова обратился ко мне: – Я говорил о наивности, Робби. Только завистники называют ее глупостью. Не обижайся на них. Наивность – это дар, а не недостаток.

Ленц хотел было что-то вставить, но Фердинанд не дал ему говорить.

– Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Простую душу, еще не изглоданную скепсисом и всей этой интеллигентской заумью. Парцифаль был простофиля. Будь он умником, не добрался бы ему до Святого Грааля. В жизни побеждают люди не мудрствующие, все же прочие видят слишком много препятствий и теряют уверенность, не успевают ничего начать. В трудные времена такая простота – неоценимое благо, она как палочка-выручалочка спасает от опасностей, которые прямо-таки засасывают умника!

Он сделал глоток и посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, этими осколками неба на иссеченном морщинами лице.

– Не надо гоняться за избыточным знанием, Робби! Чем меньше знаешь, тем проще жить. Знания делают человека свободным, но и несчастным... Так что давай-ка выпьем с тобой за простоту, наивность и за все, что из нее вытекает, – за любовь, веру в будущее, мечты о счастье; за ее величество глупость, за потерянный рай...

Внезапно он отключился и снова ушел в себя и свое опьянение, возвышаясь над всеми массивной громадой, словно одинокий холм неприступной тоски. Человек он был конченный, и он знал, что ему уже не подняться. Обитал он в своей просторной мастерской, сожительствова

с экономкой. Это была властная, грубая женщина, а Грау, напротив, несмотря на свое могучее тело, был впечатлителен и нестойк. Он никак не мог порвать с ней, да ему, видно, все было безразлично. Как-никак сорок два стукнуло.

И хотя я понимал, что виной всему опьянение, все же наблюдать его в такой неприкаянности было и странно, и тяжело, и даже слегка неприятно. С нами он бывал не часто, все больше пил в одиночку у себя в мастерской. А эта дорожка быстро идет по наклонной.

По лицу его промелькнула улыбка. Он сунул мне в руку стакан.

– Пей, Робби. И спасайся. Помни о том, что я тебе сказал.

– Хорошо, Фердинанд.

Ленц завел патефон. У него была куча пластинок с негритянскими песнями, и некоторые из них он поставил сегодня – о Миссисипи, о собирателях хлопка, о знойных ночах на берегах голубых тропических рек.

VI

Патриция Хольман жила в большом желтом доме-коробке, отделенном от проезжей части улицы узкой полоской газона. У подъезда стоял фонарь. Я остановил «кадиллак» прямо под ним. В неверном свете фонаря машина походила на мощного слона, кожа которого отливала жирным черным глянцем.

Я продолжил усовершенствования своего гардероба: помимо галстука, купил еще перчатки и шляпу, кроме того, на мне было пальто Ленца – великолепное серое пальто из тонкого шотландского твида. Таким оснащением я хотел развеять воспоминания о нашем первом пьяном вечере.

Я посигналил. Сразу же, подобно ракете, загорелись окна всех пяти этажей лестничной клетки. Загудел лифт. Я следил за ним, как за волшебной бадьей, спускающейся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и легко сбегала по ступенькам. На ней была короткая бежевая куртка, отороченная мехом, и узкая коричневая юбка.

– Хэлло! – Она протянула мне руку. – Я так рада куда-нибудь выбраться. Весь день просидела дома.

Мне понравилось ее рукопожатие – более сильное, чем можно было ожидать. Ненавижу людей, вяло сующих свою ладошку, как дохлую рыбу.

– Что же вы сразу мне не сказали, что весь день сидите дома? Я бы заехал за вами еще днем.

– Разве у вас так много времени?

– Не могу этого сказать. Но я бы освободился.

Она сделала глубокий вдох.

– Какой чудесный воздух! Пахнет весной.

– Если хотите, мы можем дышать воздухом сколько угодно, – сказал я, – можем поехать за город, в лес, на природу, я на всякий случай прихватил с собой машину. – При этом я с такой небрежностью показал на «кадиллак», будто это был какой-нибудь развалюха «форд».

– «Кадиллак»? – Она посмотрела на меня с изумлением. – Ваш собственный?

– Сегодня вечером да. А вообще-то он принадлежит нашей мастерской. Мы немало с ним повозились и теперь надеемся сорвать немалый куш.

Я открыл дверцу.

– Не поехать ли нам сначала в «Лозу» и поужинать? Как вы думаете?

– Поужинать было бы неплохо, но почему непременно в «Лозе»?

Я был несколько озадачен. Ведь «Лоза» – это единственный приличный ресторан из тех, что я знал.

– По правде говоря, – сказал я, – я не знаю ничего лучшего. Кроме того, мне казалось, что «кадиллак» нас к чему-то обязывает.

Она рассмеялась.

– В «Лозе» наверняка чопорная, скучная публика. Нет, лучше в другое место!

Я растерялся. Грезы о респектабельности рассеивались, как дым.

– Тогда предложите что-нибудь вы, – сказал я. – Заведения, которые посещаю я, все как на подбор простецкого пошиба. Они не для вас.

– Почему вы так решили?

– Так мне кажется...

Она быстро взглянула на меня.

– Давайте все же попробуем.

– Хорошо. – Я решил круто изменить программу. – Раз вы не из пугливых, то у меня есть кое-что на примете. Едем к Альфонсу.

– Альфонс – это уже звучит! – сказала она. – И вряд ли меня сегодня что-нибудь испугает.
– Альфонс – хозяин пивной, – сказал я. – Большой друг Ленца.

Она засмеялась.

– Похоже, у Ленца повсюду друзья?

Я кивнул:

– Он легко их заводит. Вы ведь видели, как это было с Биндингом.

– Да, Бог свидетель, – заметила она. – Подружились они молниеносно.

Мы поехали.

Альфонс был увалень и флегматик. Выпирающие скулы. Маленькие глаза. Закатанные рукава рубашки. Руки как у гориллы. Он самолично вышвыривал из своего заведения всякого, кто приходился ему не по вкусу. Даже членов патриотического спортивного общества. Для особо трудных случаев он держал молоток под стойкой. Пивная была расположена очень удобно – рядом с больницей, так что на транспорт тратиться не приходилось.

Он вытер светлый еловый стол своей волосатой лапой.

– Пиво? – спросил он.

– Водки и чего-нибудь на закуску, – сказал я.

– А для дамы? – спросил Альфонс.

– Дама тоже желает водки, – сказала Патриция Хольман.

– Крепко, весьма, – промолвил Альфонс. – Есть свиные ребрышки с кислой капустой.

– Свиныю сам заколол? – спросил я.

– Натурально.

– Но даме надо бы предложить чего-нибудь полегче, Альфонс.

– Вы шутите, – возразил Альфонс. – Сначала взгляните на мои ребрышки.

Он велел кельнеру показать нам порцию.

– Великолепный был свинтус, – сказал он. – С медалями. Два первых приза.

– Ну кто ж тогда устоит? – заявила, к моему удивлению, Патриция Хольман уверенным тоном постоянной посетительницы этого кабака.

– Стало быть, две порции? – подмигнув, спросил Альфонс.

Она кивнула.

– Прекрасно! Пойду выберу сам.

Он отправился на кухню.

– Беру назад свои слова, – сказал я, – я напрасно сомневался, что вас можно вести сюда. Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам выбирает блюда он только для завсегдатаев.

Альфонс вернулся.

– Добавил вам еще колбасы.

– Неплохая идея, – сказал я.

Альфонс к нам явно благоволил. Немедленно явилась водка. И три стопки. Одна – для Альфонса.

– Что ж, будем здоровы! – сказал он. – За то, чтобы наши дети заимели богатых родителей.

Мы выпили залпом. Девушка не пригубила водку, а выпила, как и мы.

– Крепко, весьма, – заметил Альфонс и прокосолапил к стойке.

– Вам понравилась водка? – спросил я.

Она покачала головой:

– Крепковата, конечно. Но уж надо было держать марку перед Альфонсом.

Ребрышки были что надо. Я съел две большие порции, да и Патриция Хольман преуспела значительно больше, чем я мог предположить. Мне страшно нравилась ее манера держаться по-свойски, чувствовать себя запросто и в пивнушке. Без всякого жеманства она выпила и вторую

стопку с Альфонсом. Тот незаметно подмигивал мне в знак одобрения. А он был знаток. Не столько в вопросах красоты или там культуры, но в главном – в том, чего человек стоил как таковой.

– Если вам повезет, вы узнаете и слабую струнку Альфонса, – сказал я.

– Охотно, – сказала она. – Да только похоже, что слабостей у него нет.

– Есть! – Я показал на столик рядом со стойкой. – Вот она!

– Что именно? Патефон?

– Нет, не патефон. Хоровое пение! У него слабость к хоровому пению. Он не признает ни легкой, ни классической музыки, только хоры – мужские, смешанные, всякие. Вон та куча пластинок – это сплошные хоры. А вот и он сам.

– Как вам ребрышки? – спросил Альфонс, подходя.

– Выше всяких похвал! – воскликнул я.

– А даме тоже понравились?

– В жизни не ела ничего подобного, – смело заявила дама.

Альфонс удовлетворенно кивнул.

– А сейчас заведу вам свою новую пластинку. Удивлю, так сказать!

Он направился к патефону. Игла зашипела, и вслед затем могучий мужской хор грянул «Лесное молчание». Чертовски громкое то было молчание.

С первого же такта в пивной воцарилась мертвая тишина. Не разделить вместе с Альфонсом его благоговения – значило пробудить в нем зверя. Он стоял за стойкой, уперевшись в нее волосатыми руками. Под воздействием музыки лицо его преобразилось. Оно стало мечтательным – насколько может быть мечтательным лицо человека, похожего на гориллу. Хоровое пение имело необъяснимое воздействие на Альфонса. Он делался трепетнее лани. Он мог весь отдаться кулачной сваре, но стоило вступить звукам мужского хора – и у него как по мановению волшебной палочки сами собой опускались руки; он затихал, прислушиваясь, и был готов к примирению. В прежние времена, когда он был более вспыльчив, жена всегда держала наготове пластинки, которые он особенно любил. В минуту крайней опасности, когда он выскочивал из-за стойки с молотком, она быстренько опускала иглу на пластинку – и Альфонс опускал молоток, прислушивался, успокаивался. С тех пор надобность в этом исчезла – и жена умерла, оставив вместо себя портрет над стойкой, подарок Грау, за что художник всегда имел здесь даровой столик; да и сам Альфонс с годами поостыл и угомонился.

Пластинка кончилась. Альфонс подошел к нам.

– Чудо как хорошо, – сказал я.

– Особенно первый тенор, – добавила Патриция Хольман.

– Верно, – впервые оживился Альфонс, – о, вы знаете в этом толк! Первый тенор – это самый высокий класс!

Мы простились с ним.

– Привет Готфриду, – сказал он. – Пусть он как-нибудь заглянет.

Мы стояли на улице. Фонари перед домом разбрасывали беспокойные блики по сплетенным ветвям старого дерева. Они уже покрылись зеленоватым легким пушком, и все дерево благодаря неясной, мреющей подсветке казалось мощнее и величественнее, его крона словно пронзала тьму – как гигантская рука, в неборимой тоске простертая в небо.

Патриция Хольман слегка поежилась.

– Вам холодно? – спросил я.

Передернув плечами, она спрятала руки в рукава меховой куртки.

– Ничего, пройдет. Просто в помещении было довольно жарко.

– Вы слишком легко одеты, – сказал я. – Вечерами еще холодно.

Она покачала головой:

– Не люблю одежду, которая много весит. Кроме того, мне хочется, чтобы поскорее наступило тепло. Не выношу холод. Особенно в городе.

– В машине тепло, – сказал я. – Там у меня и плед припасен на всякий случай.

Я помог ей забраться в машину и укрыл пледом ее колени. Она подтянула плед повыше.

– Ой, как хорошо. Ой, как чудесно! А то холод навевает мрачные мысли.

– Не только холод. – Я сел за руль. – Покатаемся?

Она кивнула:

– С удовольствием.

– Куда поедем?

– Просто так, не торопясь, по улицам. Все равно куда.

– Отлично.

Я запустил мотор, и мы поехали по городу – медленно и бесцельно. Был тот час вечера, когда движение становится особенно оживленным. Мы скользили в нем почти бесшумно, настолько тих был мотор. Наш «кадиллак» напоминал парусник, безмолвно плывший по пестрым каналам жизни. Мимо проносились улицы, освещенные подъезды и окна, тянулись ряды фонарей – подсланенная, прельстительная вечерняя суতোлка бытия, нежная лихорадка иллюминированной ночи; а над всем этим, над острыми крыш – стальной купол неба, вбиравший, втягивавший в себя огни города.

Девушка сидела молча рядом со мной, по ее лицу пробежали отраженные стеклами блики. Изредка я взглядывал на нее, она снова казалась мне такой, какой я увидел ее в первый вечер. Ее посерьезневшее лицо выглядело теперь более отчужденным, чем за ужином, но оно было очень красивым – это было то самое лицо, которое меня тогда так взволновало, что лишило потом покоя. Мне чудилось, будто в нем есть что-то от той таинственной тишины, что присуща природе – деревьям, облакам, животным, а иногда и женщинам.

Мы выбрались на более тихие улицы предместья. Ветер усилился. Казалось, он гонит ночь перед собой. Я остановил машину на большой площади, вокруг которой спали маленькие дома в маленьких палисадниках.

Патриция Хольман потянулась, словно бы просыпаясь.

– Это было чудесно, – сказала она немного погодя. – Если б у меня была машина, я бы каждый вечер ездила так по улицам. В этом медленном и бесшумном скольжении есть что-то от сна или сказки. И в то же время все это явь. И тогда никаких людей вроде бы и не надо по вечерам...

Я вынул пачку сигарет из кармана.

– А вообще-то ведь надо, чтоб вечерами кто-нибудь был рядом, не так ли?

– Да, вечерами – конечно, – согласилась она. – Странное это чувство – когда наступает темнота.

Я вскрыл пачку.

– Это американские сигареты. Они вам нравятся?

– И даже больше других.

Я дал ей огня. На мгновение теплый и краткий свет спички осветил ее лицо и мои руки, и мне вдруг пришла в голову шальная мысль, будто мы с ней давным-давно неразлучны.

Я опустил стекло, чтобы вытягивало дым.

– Хотите немного поводить? – спросил я. – Наверняка это доставит вам удовольствие.

Она повернулась ко мне.

– Конечно, хочу, но ведь я совсем не умею.

– В самом деле?

– Нет. Я никогда не училась.

Я узрел в этом свой шанс.

– Биндинг давно бы мог показать вам, как это делается, – сказал я.

Она рассмеялась.

– Биндинг слишком влюблен в свою машину. Он никого к ней не подпускает.

– Ну, это чистая глупость, – не упустил я случая уколоть толстяка. – Я вот запросто посажу вас за руль. Давайте попробуем.

Легко позабыв про Кестера с его предостережениями, я вылез из «кадиллака», уступая ей руль.

– Но я действительно не умею, – сказала она, волнуясь.

– Неправда, – возразил я. – Умеете. Только не знаете этого.

Я показал ей, как действуют коробка скоростей и сцепление.

– Вот и все, очень просто. А теперь вперед!

– Подождите! – Она показала на одинокий автобус, медленно пробирающийся по улице. – Давайте сначала пропустим!

– Ни в коем случае! – Я быстро включил скорость и сцепление.

Она судорожно вцепилась в руль, напряженно глядя в лицо.

– О Боже, мы едем слишком быстро!

Я посмотрел на спидометр.

– Вы едете сейчас со скоростью ровно двадцать пять километров в час. На самом деле – не больше двадцати. Неплохой темп для стайера.

– А мне кажется, что не меньше восьмидесяти.

Через несколько минут первоначальный страх исчез. Мы ехали вниз по широкой прямой дороге. «Кадиллак» слегка петлял, словно вместо бензина в баке у него был коньяк, да несколько раз едва не потерял шинами о бортик тротуара. Но постепенно дело наладилось, приняв тот самый оборот, которого я желал: неожиданно мы превратились в учителя и ученицу, и я пользовался преимуществами своего положения.

– Внимание – полицейский! – сказал я.

– Остановиться?

– Слишком поздно.

– А что будет, если меня остановят? Ведь у меня нет водительских прав.

– Нас обоих посадят в тюрьму.

– Господи, какой ужас! – От страха она стала тыкаться ногой в тормоз.

– Газ! – крикнул я. – Нажмите на газ! Еще! Мы должны промчаться гордо и смело. Дерзость – лучшее средство борьбы против закона.

Полицейский не обратил на нас ни малейшего внимания. Девушка облегченно вздохнула.

– До сих пор я не знала, что обыкновенный регулировщик может походить на огнедышащего дракона, – сказала она, когда мы отъехали от него на несколько сот метров.

– Он превратится в дракона, если на него наехать. – Я медленно нажал на тормоз. – Вот тут у нас замечательная пустынная улица, на нее и свернем – поупражняемся в свое удовольствие. Сперва поучимся трогаться с места и останавливаться.

Трогаясь, Патриция несколько раз глушила мотор. Она расстегнула меховую куртку.

– Уф! Становится жарко! Но я должна научиться!

Она сидела за баранкой с видом старательной ученицы и внимательно следила за моими объяснениями. Потом она сделала несколько первых поворотов, сопровождая их воплями ужаса и возгласами ликования; встречных машин, их бьющих фар она дьявольски пугалась, зато и бурно радовалась, когда удавалось с ними разминуться. Вскоре в маленьком, скудно освещенном приборами пространстве возникла доверительная товарищеская атмосфера, какая всегда возникает между людьми, занятыми техническим или иным совместным делом, и когда через полчаса мы поменялись местами и я поехал назад, мы были значительно ближе друг другу, чем после любого, сколь угодно пространного рассказа о собственной жизни.

Недалеко от Николайштрассе я опять остановил машину. Прямо над нами сверкали пурпуром огни кинорекламы. Асфальт под ней отливал матовым линялым красным цветом. У самой кромки асфальта блестело жирное маслянистое пятно.

– Ну вот, – сказал я, – теперь мы честно заслужили по стаканчику. Где бы нам это сделать? Патриция Хольман на минутку задумалась.

– А почему бы нам не пойти опять в этот симпатичный бар с парусниками? – предложила затем она.

Меня мигом пронзила тревога. Можно было дать голову на отсечение, что сейчас там сидит последний романтик. Я уже представлял себе, какое он сделает лицо...

– Ну что вы, – быстро сказал я, – это не бог весть что. Есть места куда более приятные...

– Не знаю, не знаю... Мне там в прошлый раз очень понравилось.

– В самом деле? – спросил я озадаченно. – Вам в прошлый раз понравилось?

– Да, – сказала она улыбаясь. – Даже очень.

«Вот тебе на! – подумал я. – А я-то казнил из-за того вечера...»

– Боюсь, в это время там полно народа, – сделал я еще одну попытку.

– Так давайте посмотрим.

– Давайте.

Я обдумывал, как мне быть. Когда мы подъехали к бару, я быстро выскочил из машины.

– Я только взгляну и сразу вернусь.

В баре знакомых не было, кроме одного Валентина.

– Послушай, – обратился я к нему. – Готфрид был здесь?

Валентин кивнул:

– Да, вместе с Отто. Ушли с полчаса назад.

– Жаль, – сказал я, облегченно вздыхая. – Жаль, что я их не застал. – Я вернулся к машине. – Рискнем, – заявил я. – По счастью, тут сегодня вполне сносно.

Однако «кадиллак» я на всякий случай поставил за углом, в темном месте.

Но не прошло и десяти минут, как соломенная грива Ленца всплыла у стойки. «Проклятие! – подумал я. – Все же нарвался! Лучше бы это произошло через несколько недель».

Готфрид, кажется, был не намерен задерживаться. Я уж подумал было, что все обойдется, как заметил, что Валентин показывает ему на меня. Вот мне и наказание за мою ложь. Лицо Ленца, когда он нас увидел, нужно было бы демонстрировать начинающим киноактерам – трудно было бы найти более поучительный материал. Глаза его округлились и выпучились, как желтки глазуньи, а челюсть грозила вот-вот отвалиться. Жаль, в баре в этот миг не нашлось режиссера, я уверен, что он немедленно заключил бы с Ленцем контракт, заняв его, например, в эпизоде, когда перед потерпевшим кораблекрушение матросом предстает чудовищный спрут.

Впрочем, Готфрид быстро овладел собой. Я взглядом умолял его исчезнуть. В ответ он подленько ухмыльнулся, оправил пиджак и подошел к нам.

Я знал, что мне предстоит, и поэтому первым пошел в атаку.

– Ты уже проводил фройляйн Бомблатт? – спросил я, чтобы выбить его из седла.

– Да, конечно, – спокойно ответил он, ничем не выдав, что еще секунду назад ничего не знал о существовании упомянутой фройляйн. – Она передает тебе привет и просит, чтобы ты позвонил ей завтра пораньше.

Контрудар был неплох. Я кивнул:

– Позвоню. Бог даст, она все же купит машину.

Ленц снова открыл было рот, но я ударил его по ноге и посмотрел на него такими глазами, что он, ухмыльнувшись, осекся.

Мы выпили по несколько рюмок. Я пил только коктейль с большим количеством лимона. Не хотелось снова опростоволоситься.

Готфрид пришел в отличное расположение духа.

– Только что был у тебя, – сказал он. – Думал позвать тебя на ярмарку. Там великолепная новая карусель. Может, сходим, а? – Он посмотрел на Патрицию Хольман.

– Конечно! – воскликнула она. – Больше всего на свете люблю карусели!

– Тогда выезжаем немедленно, – сказал я. Я был рад выбраться на улицу. Там все было как-то проще.

Шарманщики – на передовых постах аттракционов. Меланхолические, нежно жужжащие звуки. На истертой бархотке там и сям попугай или зябнущая обезьянка в красном суконном жилете. Пронзительно зазывные голоса торговцев самым разным товаром – фарфоровым клеем, алмазами для резки стекла, турецким медом, воздушными шарами, отрезами на костюмы. Острый запах карбидных ламп, испускающих голубое свечение. Гадалки, астрологи, ларьки с марципанами, лодки-качалки, увеселительные павильоны. А вот наконец и сама карусель с ее оглушительной музыкой, пестротой, огнями крутящихся башен, освещенных как дворцы.

– Ребята, вперед! – И Ленц с развевающимися волосами бросился к «американским горкам». Здесь был самый большой оркестр. Перед каждым пуском из позолоченных ниш выходили шесть фанфаристов, поворачивались во все стороны, трубили как оглашенные и, взмахнув инструментами, исчезали. Зрелище было грандиозное.

Мы уселись в большую лодку с лебедем на носу и понеслись вперед, так что только ветер свистел. Мир искрился и скользил, он раскачивался в разные стороны и вдруг нырял в темный туннель, который мы проскакивали под барабанный бой, чтобы через секунду вновь вынырнуть в шумном и бушующем море огней.

– Еще! – Готфрид устремился к летающей карусели с гондолами в виде дирижаблей и самолетов. Мы взобрались в цеппелин и сделали на нем три круга.

С трудом переводя дух, мы очутились опять на земле.

– А теперь на чертово колесо! – бросил клич Ленц.

Чертовым колесом назывался большой и гладкий, несколько выпуклый к середине диск, который вращался с нарастающей скоростью и на котором надо было удержаться дольше всех. Он отбивал немислимую чечетку, и ему аплодировали. В конце концов он остался на кругу вдвоем с какой-то поварихой, у которой был зад как у ломовой лошади. Чем эта хитрюга и воспользовалась: когда удерживаться на ногах стало совсем уже невозможно, она просто плюхнулась задом на середину, а Готфрид приплясывал вокруг нее. Всех прочих давно уже разметало в разные стороны. Но вот судьба настигла и последнего романтика, он рухнул в объятия поварихи, и они кубарем скатились на землю. К нам он подошел, ведя ее под руку и называя просто Линой. В ответ Лина смущенно улыбалась. Он спросил ее, не желает ли она чего-нибудь съесть или выпить, и она заявила, что пиво хорошо утоляет жажду. После чего оба исчезли в палатке.

– А куда же пойдём мы? – спросила с горящими глазами Патриция Хольман.

– В лабиринт привидений, – сказал я, указывая на большой павильон.

Путь, проложенный по лабиринту, был полон неожиданностей. Они начались уже через несколько шагов: вдруг зашатался пол, чьи-то руки стали ощупывать нас в темноте, по углам то и дело мелькали страшные рожи, завывали привидения, мы, конечно, только посмеивались, но в один момент, когда перед нами в зеленоватом освещении внезапно возник череп, девушка резко отпрянула назад, на миг оказавшись в моих объятиях. Кожей лица я ощутил ее дыхание, губами – ее волосы, но она тут же рассмеялась, и я отпустил ее.

Я отпустил ее, но что-то во мне этого не желало. Мы давно уже вышли из лабиринта, а я все еще чувствовал прикосновение ее плеча, ее мягких волос, чувствовал тонкий персиковый запах ее кожи...

Я избегал смотреть на нее – все стало как-то совсем по-другому...

Ленц нас поджидал. Он был один.

– А где же Лина? – спросил я.

– Хлобыщет пиво, – кивнул он в сторону тента. – С каким-то кузнецом.

– Приношу свои соболезнования.

– А, чепуха, – заметил Готфрид. – Давай-ка лучше займемся самым что ни на есть мужским делом.

Мы пошли в павильон, где можно было выиграть всякую всячину, набрасывая резиновые кольца на железные крюки.

– Так, – сказал Ленц, обращаясь к Патриции Хольман, – сейчас мы вам соберем целое приданое.

Он бросил первым и выиграл будильник. За ним и я урвал плюшевого медведя. Владелец аттракциона вручил нам и то и другое с громкими, деланно восторженными восклицаниями, рассчитывая привлечь новых клиентов.

– Сейчас ты у меня уймешься, – хмыкнул Готфрид и овладел сковородкой. Я добыл еще одного мишку.

– Надо же, какая пруха, – только и крикнул хозяин, передавая нам вещи.

Он еще не знал, что его ожидало. Ленц лучше всех в нашей роте метал гранату, а зимой, когда нечего было делать, мы, бывало, месяцами упражнялись в набрасывании шляпы на разные крючья. Так что тутошнее испытание было для нас детской забавой. Готфрид легко завладел своим следующим призом – хрустальной вазой. Я – полдюжиной граммофонных пластинок. Хозяин молча сунул их нам и стал проверять свои крючья на прочность.

Ленц прицелился, бросил – и выиграл кофейный сервиз, второй приз. Тем временем вокруг нас собралась толпа зевак. Я в темпе набросил три кольца подряд на один и тот же крюк. Наградой стала кающаяся Магдалина в золоченой раме.

Хозяин павильона, скроив такую гримасу, будто он сидел в кресле у зубного врача, отказался выдать нам новые кольца. Мы не стали возражать, но тут зрители устроили настоящий скандал. Они стали требовать, чтобы он не мешал нам куражиться дальше. Они жаждали видеть, как он разорится дотла. Больше всех шумела Лина, снова появившаяся вместе со своим кузнецом.

– Стало быть, как мимо бросать, так это можно, да? А попадать, стало быть, нельзя?

Кузнец одобрял ее, раздувая мехи своего баса.

– Так и быть, – сказал хозяин. – Пусть каждый бросит еще по разу.

Я бросил первым. Тазик для умывания с кувшином и мыльницей. Потом настала очередь Ленца. Он взял пять колец. Четыре из них он со скоростью автомата накинул на один и тот же крюк. Перед тем как бросить пятое, он сделал нарочитую паузу и достал сигарету. Трое мужчин бросились к нему с зажигалками. Кузнец похлопал его по плечу. Лина от волнения жевала платочек. Потом Ленц прищурился и расслабленно, чтобы не было амортизации, кинул пятое кольцо поверх предыдущих. Кольцо осталось висеть. Раздался оглушительный рев. Ленц оторвал главный приз – детскую коляску с кружевными подушками и розовым одеяльцем.

Хозяин, чертыхаясь, выкатил нам коляску. Мы погрузили в нее все остальные трофеи и двинулись к следующему павильону. Лина везла коляску. Кузнец отпускал по этому поводу такие шуточки, что я предпочел несколько отстать от них с Патрицией Хольман. В следующем павильоне кольца нужно было набрасывать на бутылки с вином. Попало кольцо на бутылку – она твоя. Мы добыли шесть бутылок. Ленц взглянул на этикетки и подарил их кузнецу.

Был и еще один подобный павильон. Но его владелец вовремя учуял опасность и при нашем приближении павильон закрыл. Кузнец хотел было затеять свару, он знал, что здесь в качестве призов разыгрывались бутылки пива. Но мы отказались от этой идеи: у хозяина аттракциона была только одна рука.

В сопровождении целой толпы мы добрались до «кадиллака».

– Что будем делать? – спросил Ленц, почесывая затылок. – Привяжем коляску к машине?

– Давай, – согласился я. – Но тебе придется сесть в нее и править, чтобы она не перевернулась.

Патриция Хольман запротестовала. Она боялась, что Ленц и впрямь отколет такой номер.

– Что ж, – сказал Готфрид, – тогда придется рассортировать добычу. Обоих мишек вы непременно должны взять себе. Пластинки тоже. А как насчет сковородки?

– В таком случае она перейдет во владение мастерской, – заявил Готфрид. – Забери ее, Робби, как старый специалист по яичницам. А кофейный сервиз?

Патриция кивнула в сторону Лины. Повариха покраснела. Готфрид вручил ей, будто приз, кофейные причиндалы. Потом он извлек из коляски керамический тазик.

– А эту посудину кому? Господину соседу, не так ли? В твоем деле эта штукавина пригодится. Как и будильник. Кузнецы спят, как медведи.

Я протянул Готфриду цветочную вазу. Он и ее вручил Лине. Она, заикаясь, стала отказываться. Она не сводила глаз с кающейся Магдалины. Она полагала, что если ваза достанется ей, то картина – кузнецу.

– Обожаю искусство, – выдохнула она, от волнения и алчности обкусывая ногти на своих красных пальцах.

– Милостивая сударыня, – с наивозможной галантностью обратился Ленц к Патриции Хольман, – что вы на это скажете?

Патриция Хольман взяла картину и отдала ее поварихе.

– Вещь действительно очень красивая, Лина, – с улыбкой сказала она.

– Повесь над кроватью и услаждай свое сердце, – добавил Ленц.

Лина обеими руками схватила картину. Глаза ее увлажнились; от переизбытка благодарности ее поразила икота.

– А теперь ты, – задумчиво, с чувством произнес Ленц, обращаясь к детской коляске. Глаза Лины, осчастливленной, казалось бы, Магдалиной, вновь загорелись жадностью. Кузнец заметил, что, мол, никому не дано знать, когда ему понадобится такая штука, и так расхохотался своему замечанию, что даже выронил бутылку с вином.

Но Ленц шутку не поддержал.

– Постойте-ка, я тут кое-что вспомнил, – сказал он и исчез. Через несколько минут он прибежал за коляской и куда-то ее укатил. – Все в ажуре! – бросил он нам, вернувшись.

Мы сели в «кадиллак».

– Ну, это просто как Рождество! – воскликнула счастливым голосом Лина и, освободив от обильных подарков свою красную лапу, протянула ее нам на прощание.

Кузнец еще успел отозвать нас в сторонку.

– Значит, так, ребята, – сказал он, – если вам понадобится кого-нибудь вздуть, то я живу по Лейбништрассе, шестнадцать, задний двор, второй этаж, левая дверь. А если их будет несколько, то я прихвачу с собой товарищей по кузнечному молоту.

– Заметано! – дружно ответили мы и уехали.

Когда мы немного отъехали и свернули за угол, Готфрид указал нам на окно машины. Мы увидели нашу коляску, а в ней настоящего младенца. Коляску осматривала бледная женщина, еще явно не оправившаяся от потрясения.

– Неплохо, а? – воскликнул Готфрид.

– Отдайте ей и мишек! – сказала Патриция Хольман. – Уж все вместе!

– Одного, может быть? – сказал Ленц. – А второго оставьте себе.

– Нет-нет, обоих!

– Ладно. – Ленц выскочил из машины, сунул обе плюшевые игрушки женщине в руки и, не дав ей опомниться, пустился наутек так, будто его преследовали. – Ну вот, – сказал он, запыхавшись, – теперь меня просто мутит от моего благородства. Высадите меня около «Интернационаля». Я обязан пропустить рюмочку коньяка.

Он вылез из машины, а я отвез Патрицию Хольман домой. Все было иначе, чем в прошлый раз. Она стояла в дверях и в колеблющихся отсветах фонаря была очень красива. Как мне хотелось пойти с ней!

– Спокойной ночи, – сказал я, – и приятных сновидений.

– Спокойной ночи.

Я смотрел ей вслед, пока не погас свет на лестнице. Потом сел в «кадиллак» и уехал. Чувствовал я себя странно. Совсем не так, как бывало, когда влюбленный провожал домой девушку. Теперь было куда больше нежности в этом чувстве, нежности и желания отдаться чему-то полностью. Отдаться, забыться...

Я поехал к Ленцу в «Интернациональ». Там было почти пусто. В одном углу сидела Фрицци со своим дружкой Алоисом. Они о чем-то спорили. Готфрид устроился с Мими и Валли на диване у стойки. Он был мил и любезен с обеими, даже с этой несчастной старенькой Мими.

Девушки вскоре ушли. Им было пора на дело, теперь наступало самое время. Мими кричала и вздыхала, сетуя на больные вены. Я подсел к Готфриду.

– Ну, поливай, не церемонься, – сказал я.

– Зачем же, детка? – возразил он, к моему удивлению. – Ты все делаешь правильно.

Мне уже стало легче оттого, что он так просто ко всему отнесся.

– Мог бы и раньше намекнуть, – сказал я.

– Чепуха! – отмахнулся он.

Я заказал себе ром.

– А знаешь, – сказал я, – я ведь даже понятия не имею, кто она, чем занимается. И в каких отношениях с Биндингом. Он-то, кстати, не говорил тебе тогда ничего?

Он посмотрел на меня:

– А что, тебя это разве заботит?

– Да нет...

– Вот и я думаю. Между прочим, пальто тебе очень идет.

Я покраснел.

– И нечего тебе краснеть. Ты прав во всем. Я бы и сам так хотел – если б мог...

Я немного помолчал, а потом спросил:

– Что ты имеешь в виду, Готфрид?

– А то, что все остальное – дерьмо, Робби. То, что в наше время ничего нет стоящего. Вспомни, что тебе вчера говорил Фердинанд. Не так уж не прав этот старый толстый некрофил-малеватель. Ну да хватит об этом... Сядь-ка лучше на этот ящик да сыграй парочку-другую старых солдатских песен.

Я сыграл «Три лилии» и «Аргоннский лес». Здесь, в пустом кафе, эти мелодии наших былых времен возникли как призраки.

VII

Дня через два Кестер выбежал из мастерской.

– Робби, звонил твой Блюменталь! Он ждет тебя в одиннадцать с «кадиллаком». Хочет сделать пробную езду.

Я швырнул на землю гаечный ключ.

– Черт возьми, Отто, неужели клюет?

– А что я вам говорил? – раздался из-под «форда» голос Ленца. – Он явится снова – вот что я вам говорил. Готфрида надо слушать!

– Кончай трепаться, дело серьезное! – крикнул я ему под машину. – Отто, сколько я могу ему уступить? Предельно?

– Предельно – две тысячи. Сверхпредельно – две тысячи двести. Упрется – две пятьсот. Если увидишь, что перед тобой сумасшедший, – две шестьсот. Но уж тогда скажи ему, что мы будем век его проклинять.

– Ладно.

Мы надраили машину до блеска. Я сел за руль. Кестер положил мне руку на плечо.

– Робби, не посрами свою солдатскую доблесть. Отстаивай честь нашей мастерской до последней капли крови. Умри стоя и положи руку на бумажник Блюменталья.

– Будет исполнено, – улыбнулся я.

Ленц нашарил в кармане медаль и сунул ее мне под нос.

– Дотронься до моего амулета, Робби!

– Изволь. – Я взялся за амулет.

– Абракадабра, великий шива, – в тоне молитвы произнес Готфрид, – благослови этого рохлю, надели его мужеством и силой! Подержись вот здесь, а еще лучше – возьми его с собой! Да, еще плюнь три раза.

– Все будет в порядке, – сказал я, плюнул ему под ноги и, оставив позади возбужденно махавшего мне бензиновым шлангом Юппа, выехал за ворота.

По дороге я купил несколько гвоздик и непринужденно расставил их по хрустальным вазочкам в салоне. Расчет был на фрау Блюменталь.

К сожалению, Блюменталь принял меня в конторе, а не на своей квартире. Мне пришлось подождать с четверть часа. «Ах ты, милашка, – подумал я, – этот трюк мне известен, так что не раскисну, не надейся». В приемной, заручившись расположением смазливой стенографистки, которую подкупил вынутой из петлицы гвоздикой, я выведал, с кем имею дело. Трикотаж, сбыт хороший, девять человек занято только в конторе, надежный компаньон, острейшая конкуренция со стороны фирмы «Майер и сын», Майеров сын разъезжает в красном двухместном «эссексе» – такие сведения я собрал к тому моменту, когда Блюменталь меня позвал.

Начал он с артподготовки.

– Молодой человек, – молвил он, – у меня мало времени. Цена, которую вы мне недавно назвали, – ваша несбыточная мечта. Итак, положи руку на сердце, сколько стоит машина?

– Семь тысяч, – заявил я.

Он резко откинулся.

– Тогда нам не о чем говорить.

– Господин Блюменталь, – сказал я, – да вы хоть взгляните еще раз на машину...

– Незачем, – прервал он меня, – я достаточно на нее посмотрелся, к тому же совсем недавно...

– Но смотреть ведь можно по-разному, – заявил я. – Вам нужно взглянуть на детали. Лакировка, к примеру, первоклассная, фирма «Фолль и Рурбек», двести пятьдесят марок по

себестоимости; затем новые резиновые покрышки, каталожная цена шестьсот марок. Вот вам уже восемьсот пятьдесят. Далее – обивка из тончайшего корда...

Он от меня отмахнулся. Но я как ни в чем не бывало начал свою песню сначала. Призвал его осмотреть роскошный инструментарий, превосходный кожаный верх, хромированный радиатор, сработанные по последнему слову бамперы – шестьдесят марок пара; как младенца к матери, меня влекло к моему «кадиллаку», и, тоскуя по нему, я пытался увлечь за собой Блюменталья. Я знал, что при соприкосновении с ним у меня, как у Антея, коснувшегося земли, появятся новые силы. Абстрактный жупел цены не так страшен перед лицом конкретного товара.

Но и Блюменталь не хуже моего знал, что за письменным столом он сильнее. Он, как перед рукопашной, снял очки и взялся за меня по-настоящему. Мы сражались, как тигр с удавом. Удавом был Блюменталь. Не успел я оглянуться, как он уже оттяпал у меня полторы тысячи марок.

Дух мой слабел. Я сунул руку в карман и крепко сжал амулет Готфрида.

– Господин Блюменталь, – сказал я, весьма утомленный, – уже час, видимо, вам пора обедать! – Во что бы то ни стало я хотел вырваться из этого логова, в котором цены тают, как снег.

– Я обедаю в два, – хладнокровно заявил Блюменталь, – но знаете что? Мы могли бы теперь проехаться для пробы.

Я облегченно вздохнул.

– А затем продолжим наши переговоры, – добавил он.

Я снова вздохнул свободнее.

Мы поехали к нему на квартиру. В машине его словно подменили, что немало меня удивило. В самом добродушном тоне он рассказал мне бородатый анекдот об императоре Франце-Иосифе. Я отплатил ему таким же о трамвайном кондукторе; тогда он поведал о злключениях саксонца в сумасшедшем доме, я в ответ – о шотландской любовной парочке; и только перед самым его домом мы снова посерьезнели. Он просил меня подождать, пока сходит за женой.

– Дорогой мой толстый «кадиллак», – произнес я, похлопывая машину по радиатору, – ясно, что эти рассказы скрывают новые чертовы козни. Но не волнуйся, тебя мы пристроим. Он тебя купит, уж это точно: когда еврей возвращается, то он покупает. Когда возвращается христианин, это еще далеко ничего не значит. Он проделает дюжину пробных поездок, чтобы сэкономить на извозчике, а потом вдруг вспомнит, что ведь, в сущности говоря, мебель для кухни ему нужнее. Нет-нет, евреи – добрые люди, они знают, чего хотят. Но клянусь тебе, мой милый толстячок: если я уступлю сему прямому потомку браннолюбивого Иуды Маккавейского еще хотя бы сотню, то я до конца моей жизни не возьму в рот ни капли шнапса.

Появилась фрау Блюменталь. Я немедленно вспомнил о советах Ленца и превратился из борца в кавалера. Сам Блюменталь, глядя на это, лишь подленько ухмыльнулся. Этот субъект был из железа. Ему бы торговать паровозами, а не трикотажем.

Я устроил так, чтобы он сидел сзади, а его жена рядом со мной.

– Куда прикажете отвезти вас, сударыня? – льстивым голосом спросил я.

– Куда хотите, – ответила она с материнской улыбкой.

Я болтал без умолку – какое все же блаженство иметь дело с простодушным человеком. Говорил я так тихо, что Блюменталь мог слышать только обрывки фраз. Так я чувствовал себя свободнее. Хотя его присутствие я ощущал и спиной, и оно на меня давило.

Мы остановились. Я вылез из машины и твердо посмотрел своему противнику в глаза.

– Вы должны признать, господин Блюменталь, что машина идет как по маслу.

– Да уж какое там масло, молодой человек, – возразил он до странности дружелюбно, – когда человека пожирают налоги. А вы еще лупите кругленький налог за машину. Я вам говорю.

– Господин Блюменталь, – сказал я, стараясь не сбиться с тона, – это не налог, это издержки. Вы деловой человек, и поэтому я говорю с вами откровенно. Скажите сами, чего требует в наши дни дело? Вы ведь и сами знаете – не капитала, как прежде, а кредита, вот чего! А как заполучить кредит? Рецепт известен: по одежке встречают. «Кадиллак» – это и солидно, и элегантно, вполне уютно, но не старомодно. «Кадиллак» – это воплощение буржуазного здравого смысла, это живая реклама для фирмы.

– Каков юноша. Ну чистое дело еврейский колган, а? – обратился к жене повеселевший Блюменталь. – Ах, молодой человек, – сказал он затем, – чтоб вы знали: лучшая реклама для солидного заведения в наше время – это поношенный костюм и проездной на автобус. Если бы у нас с вами были деньги тех людей, которые не тратятся на все эти шикарные, сверкающие до ряби в глазах машины, то нам с вами больше не о чем было бы беспокоиться. Я вам говорю. По секрету.

Я недоверчиво взглянул на него. Что значит этот внезапный дружеский тон? Может, присутствие жены сдерживает его боевой пыл? Пожалуй, пора давать решающий залп.

– Во всяком случае, такой «кадиллак» не сравнишь с каким-нибудь «эссексом», не правда ли, сударыня? Это уж пусть сыночек Майера разъезжает на таком драндулете, а я бы и задаром не взял такую дрянь кричаще-красного цвета...

Я услышал, как Блюменталь хмыкнул, и поторопился продолжить:

– А этот цвет, сударыня, вам необычайно идет, приглушенный кобальт для блондинки...

Блюменталь приснул, и лицо его напомнило дергающиеся обезьяньи рожи.

– Насчет Майера – это не слабо, – простонал он. – А там уж пошла эта глупая лесть...

Вот именно, лесть!

Я взглянул на него и не поверил своим глазам: в нем больше не было никакого притворства! И я стал изо всех сил давить на ту же педаль.

– Позвольте мне внести кое-какие уточнения, господин Блюменталь. Для женщины лесть никогда не является лестью. Но – комплиментами, которые в наш жалкий век, увы, стали редкостью. Ведь женщина – не стальная конструкция, а цветок, и не деловитость ей нужна, а теплая нега лести. Лучше каждый день говорить ей какие-нибудь милые пустяки, чем всю жизнь работать на нее с маниакальным занудством. Это я вам говорю. И тоже по секрету. К тому же я не льстил, а лишь припомнил классический закон физики, согласно которому синий цвет всегда идет блондинкам.

– Узнаю льва по его когтям! – сказал Блюменталь сияя. – Послушайте, господин Локамп! Я знаю, что мог бы выторговать у вас еще тысячу марок...

Я так и отпрянул, подумав, что вот он, этот долгожданный дьявольский удар. Я уже представил себе, как буду влачить жизнь угрюмого абстинента, и глазами измученной лани взглянул на фрау Блюменталь.

– Но, отец... – сказала она.

– Оставь, мать, – перебил он. – Итак, я мог бы выторговать еще, но не стану. Мне как деловому человеку доставляло удовольствие наблюдать за вашей работой. Пожалуй, фантазии пока еще многовато, но вот номер с Майерами был удачен. Ваша мать не еврейка ли?

– Нет.

– Вам доводилось работать в магазине готового платья?

– Да.

– Ну вот видите, отсюда и стиль. А по какой части?

– По части души, – ответил я. – Собирался стать учителем.

– Господин Локамп, – сказал Блюменталь, – снимаю шляпу! Ежели вдруг останетесь без места, позвоните мне.

Он выписал чек и подал его мне. Я не поверил своим глазам. Уплатил вперед! Не чудо ли?

– Господин Блюменталь, – сказал я сдавленным голосом, – позвольте мне бесплатно приложить к машине две хрустальные пепельницы и первоклассный резиновый коврик.

– Вот и прекрасно, – отвечивал он, – наконец-то дарят что-то и старику Блюменталю. – Вслед за тем он пригласил меня на следующий день поужинать. Фрау Блюменталь одарила меня материнской улыбкой.

– Будет фаршированная щука, – ласково сказала она.

– О, какой деликатес, – заявил я. – В таком случае я завтра же пригоню вам машину. А с утра мы оформим бумаги.

Назад в мастерскую я летел словно ласточка. Но Ленц и Кестер ушли обедать. Я был вынужден сдерживать свой триумф. Только Юпп был на месте.

– Ну как, продали? – спросил он с ухмылкой.

– Все-то тебе надо знать, плутишка, – сказал я. – На-ка тебе талер, построй на него самолет.

– Значит – продали, – ухмыльнулся Юпп.

– Я поеду обедать, – сказал я, – но горе тебе, если скажешь им хоть слово до моего возвращения.

– Господин Локамп, – заверил он меня, подбрасывая в воздух монету, – я буду нем как рыба.

– На нее-то ты и похож, – сказал я и дал газ.

Когда я вернулся, Юпп подал мне знак.

– Что случилось? – спросил я. – Ты проболтался?

– Как можно, господин Локамп! Да только тут этот малый... Ну, насчет «форда»...

Я оставил «кадиллак» во дворе и пошел в мастерскую. Там был и булочник. Склонившись над книгой, он рассматривал образцы красок, на нем было клетчатое пальто с поясом и широким траурным крепом. Рядом с ним была смазливая дамочка с бегающими черными глазками, в расстегнутом пальтишке, отороченном облезлым кроликом, и в лаковых туфельках, которые ей явно жали. Они обсуждали вопрос о том, какого цвета им выбрать лаковое покрытие. Чернявенькая особа была за яркий сурик, однако булочник выдвигал сомнения против красноватых тонов, так как он еще носил траур. Он предлагал блеклую серо-желтую краску.

– Глупости, – капризным голосом говорила чернявенькая, – «форд» должен быть броского цвета, иначе его никто не заметит.

Она бросала на нас заговорщицкие взгляды, пожимала плечами, когда булочник склонялся к образцам, передразнивала его, подмигивала нам. Эдакий живчик! Наконец они сошлись на зеленом, цвета резеды. При этом девушка настаивала на светлом верхе. Но тут уж булочник настоял на своем: надо ведь и траур обозначить. Он выбрал кожаное покрытие черного цвета и был в этом тверд. При этом он между делом слегка нагрел руки, ибо верх он получал бесплатно, а кожа была дороже ткани.

Они ушли. Во дворе, однако, вышла заминка: едва чернявенькая завидела «кадиллак», как пулей устремилась к нему.

– Ты только посмотри, киса, какая машина! Фантастика! Вот это мне нравится!

В следующее мгновение она уже, открыв дверцу, впорхнула на сиденье и, щурясь от восторга, запричитала:

– Вот это кресла! Колоссально! Как в ложе! Нет, это тебе не «форд»!

– Ну ладно-ладно, пошли, – недовольно проворчал ее киса.

Ленц толкнул меня в бок: мол, действуй, попытайся всучить машину булочнику. Я сверху вниз посмотрел на него и промолчал. Тогда он толкнул меня посильнее, я ответил ему тем же и отвернулся.

Лишь с трудом булочник извлек наконец из машины свое чернявое сокровище и ушел с ней, как-то сгорбившись и осердясь.

Мы посмотрели вслед этой парочке.

– Человек быстрых решений! – сказал я. – Машина отремонтирована, жена новая – нет, каков молодец!

– Ну, с этой он еще напляшется, – сказал Кестер.

Едва они скрылись за поворотом, как Готфрид напустился на меня:

– Ты в своем уме, Робби? Упускать такой шанс! Да ведь это был учебный пример на тему о том, как надо действовать!

– Унтер-офицер Ленц, – возвысил голос я, – грудь колесом, когда разговариваете со старшим по званию! Я, к вашему сведению, не сторонник двоеженства и не стану выдавать машину замуж вторично!

Момент был впечатляющий. Глаза у Готфрида стали как блюдца.

– Не шути так со святыми вещами, – выдавил он из себя.

Не обращая на него больше внимания, я обратился к Кестеру:

– Отто, прощайся с нашим сыночком «кадиллаком»! Он больше не наш. Отныне он украсит собой достопамятную фирму подштанников! Будем надеяться, он заживет там недурно. Не так героически, как у нас, зато куда более вольготно!

Я вынул чек. Ленц едва удержался на ногах.

– Не может быть! Что? Неужели? Ну, не получено же... – прошептал он хрипло.

– А вы что, птенчики, думали! – сказал я, помахивая чеком. – Угадайте сколько!

– Четыре! – выкрикнул Ленц, закрыв глаза.

– Четыре с половиной, – сказал Кестер.

– Пять! – крикнул Юпп от бензоколонки.

– Пять с половиной! – выпалил я.

Ленц вырвал у меня чек.

– Нет, это невероятно! Нет, по нему наверняка не заплатят!

– Господин Ленц, – сказал я с достоинством, – чек настолько же благонадежен, насколько неблагонадежны вы! Мой друг Блюменталь не затруднится уплатить в двадцать раз больше. Подчеркиваю: мой друг, у которого завтра вечером я ем фаршированную щуку. И да послужит вам это примером! Заключить дружбу, получить деньги вперед и быть приглашенным на ужин – вот что значит уметь продавать! Так-то, а теперь вольно!

Готфрид с трудом приходил в себя. Он сделал последнюю попытку:

– А мое объявление в газете! Мой амулет!

Я сунул ему медаль.

– На, возьми свой собачий жетон. Совсем забыл о нем.

– Сделка безупречная, Робби, – сказал Кестер. – Слава Богу, что мы наконец сбыли нашу телегу. А деньги нам сейчас невероятно кстати.

– Дашь мне пятьдесят марок авансом? – спросил я.

– Сто. Ты их заслужил.

– Не желаешь ли взять в счет аванса и мое серое пальто? – спросил Готфрид, сладко сощурился глазами.

– Не желаешь ли попасть в больницу, несчастный хамоватый ублюдок? – парировал я.

– Парни, закрываем лавочку, на сегодня хватит! – предложил Кестер. – И так заработали за день немало! Нельзя искушать Всевышнего... Поедем на «Карле» за город, потренируемся хоть перед гонками.

Юпп давно уже забыл про свой насос. Волнуясь, он потирал руки.

– Господин Кестер, тогда я, получается, остаюсь здесь за старшего, да?

– Нет, Юпп, – засмеялся Кестер, – не получается. Ты поедешь с нами!

Сначала мы заехали в банк и сдали чек. Ленц никак не мог успокоиться до тех пор, пока не удостоверился, что с чеком все в порядке. А потом мы рванули с места, да так, что из выхлопной трубы посыпались искры.

VIII

Я стоял перед своей хозяйкой.

– Ну, где горит? – спросила фрау Залевски.

– Нигде, – ответил я. – Просто хочу заплатить за квартиру.

До истечения срока оставалось три дня, и фрау Залевски едва не упала от удивления.

– Тут дело нечисто, – высказала она свое подозрение.

– Отнюдь, – возразил я. – Вы позволите мне взять на сегодняшний вечер оба парчовых кресла из вашей гостиной?

Она грозно вперила руки в свои увесистые бока.

– Вот оно что! Вам, значит, больше не нравится ваша комната?

– Нравится. Но ваши парчовые кресла мне нравятся больше.

Я объяснил, что меня, возможно, посетит кузина и поэтому мне хотелось бы несколько украсить свою комнату. Она хохотала так, что грудь ее накатывала на меня, как девятый вал.

– Кузина! – передразнила она меня, вложив в интонацию все свое презрение. – И когда же пожалует ваша кузина?

– Ну, я в этом не совсем уверен, но если она придет, то, конечно, достаточно рано, к ужину. А почему, собственно, не должно быть на свете кузин, фрау Залевски?

– Кузины на свете, конечно, бывают, да только ради них не одалживают кресла.

– А я вот одалживаю, у меня, видите ли, очень развито родственное чувство, – заявил я.

– Как же, как же! На вас это очень похоже! Все вы шатуны. А парчовые кресла можете взять. Свои плюшевые поставьте пока в гостиную.

– Большое спасибо. Завтра я все верну на свои места. И ковер тоже.

– Ковер? – Она повернулась. – Кто здесь сказал хоть слово о ковре?

– Я. Да и вы тоже. Только что.

Она сердито смотрела на меня.

– Так он как бы часть целого, – сказал я. – Ведь кресла стоят на нем.

– Господин Локамп, – заявила фрау Залевски величественным тоном, – не заходите слишком далеко! Умеренность во всем, как говаривал блаженной памяти Залевски. Не худо бы и вам усвоить себе этот девиз.

Я-то знал, что этот девиз не помешал блаженной памяти Залевски однажды в буквальном смысле упиться до смерти. Его жена в иных обстоятельствах сама не раз рассказывала мне об этом. Но ей это было нипочем. Она использовала своего мужа, как другие люди Библию, то есть для цитирования. И чем больше времени проходило со дня его смерти, тем больше изречений она ему приписывала. Теперь он уже – как и Библия – годился на все случаи жизни.

Я приводил свою комнату в божеский вид. Днем я разговаривал с Патрицией Хольман по телефону. До этого она была больна, и я целую неделю не виделся с ней. Теперь же мы условились на восемь, я предложил поужинать у меня, а потом пойти в кино.

Парчовые кресла и ковер производили внушительное впечатление, но освещение портило все. Поэтому я постучал к своим соседям, Хассам, чтобы попросить у них настольную лампу на вечер. Фрау Хассе с усталым видом сидела у окна. Ее супруга еще не было дома. Он по собственной воле задерживался на часик-другой на работе, лишь бы избежать увольнения. Фрау Хассе чем-то напоминала больную птицу. В ее расплывшихся и постаревших чертах все еще проглядывало узкое личико маленькой девочки – разочарованной и печальной.

Я изложил свою просьбу. Несколько оживившись, она вручила мне лампу.

– Подумать только, – сказала она, вздыхая, – ведь и я в свое время...

Эту историю я знал назубок. Она повествовала о том, какие замечательные виды открылись бы перед ней, если бы она не вышла замуж за Хассе. Я знал эту историю и в редакции самого Хассе. Там речь шла о том, какие перед ним открылись бы замечательные виды, если бы он не женился. По-видимому, это была самая банальная история на свете. И самая безнадежная.

Я послушал ее какое-то время, вставив по ходу дела несколько подходящих фраз, и направился к Эрне Бениг за ее патефоном.

Фрау Хассе говорила об Эрне не иначе как об «этой особе, проживающей рядом». Она презирала ее, потому что завидовала. Я же души в ней не чаял. Она не строила себе никаких иллюзий и твердо знала, что нужно постараться урвать хоть немного от того, что у людей называется счастьем. Знала она и то, что за каждую кроху счастья нужно платить вдвое, а то и втридорога. Счастье – это самая неопределенная вещь на свете, которая идет по самой дорогой цене.

Эрна опустила на колени и принялась рыться в чемодане, подбирая мне пластинки.

– Фокстроты хотите? – спросила она.

– Нет, – ответил я, – я не умею танцевать.

Она удивленно воззрилась на меня.

– Не умеете танцевать? Но что же вы делаете, когда ходите вечером развлекаться?

– Устраиваю перепляс в своем горле. Тоже, знаете, получается неплохо.

Она покачала головой:

– Мужчина, не умеющий танцевать? Нет, я такому сразу бы дала от ворот поворот!

– У вас суровые правила, – заметил я. – Но ведь есть же и другие пластинки. Вот недавно у вас играла замечательная – знаете, такой женский голос и что-то вроде гавайской музыки...

– А, это чудо! «И как я жить могла без тебя?..» Эта, да?

– Точно! Кто только придумывает все эти слова! Мне кажется, что авторы этих песенок должны быть последними романтиками на нашей земле.

Она засмеялась.

– Вполне возможно, что так оно и есть. Ведь патефон теперь стал чем-то вроде альбома для посвящений. Раньше писали друг другу стишки в альбом, а теперь дарят пластинки. Если мне хочется вспомнить какой-нибудь эпизод из своей жизни, мне стоит лишь завести пластинку, которую я слушала тогда, и прошлое сразу оживет.

Я перевел взгляд на грудку пластинок на полу.

– О, если судить по пластинкам, Эрна, то у вас есть о чем вспомнить.

Она встала с колен и откинула со лба непокорные рыжие волосы.

– Что верно, то верно, – сказала она, отодвигая ногой стопку пластинок. – Но я бы все свои воспоминания отдала за одно – настоящее...

Я вынул все, что закупил к ужину, и приготовил стол как умел. На помощь со стороны кухни рассчитывать не приходилось, отношения с Фридой у меня были слишком неважные. Уж она бы постаралась уронить что-нибудь на пол. Но я справился кое-как и сам, да так, что не мог узнать свою комнату в ее новом блеске. Кресла, лампа, накрытый стол – я чувствовал, как во мне растет беспокойное ожидание.

Я вышел из дома, хотя до условленного времени оставалось еще больше часа. На улице бушевал порывистый ветер, нападавший из-за угла. Фонари были уже зажжены. Сумерки между домами сгустились и посинели, как море. «Интернациональ» плавал в них, как фрегат со спущенными парусами. Я решил заглянуть туда на минутку.

– Гопля, Роберт, – встретила меня Роза.

– А ты что здесь поделываешь? – спросил я. – На дежурство не собираешься?

– Рановато еще.

Алоис словно соткался из воздуха.

– Одинарную? – спросил он.

– Тройную, – ответил я.

– Ого, резво ты начинаешь, – заметила Роза.

– Надо для куражу, – сказал я, опрокидывая ром.

– Сыграешь что-нибудь? – спросила Роза.

Я покачал головой:

– Неохота. Очень уж ветрено. Как твоя малышка?

Она улыбнулась всеми своими золотыми зубами.

– Не звонят, стало быть, все хорошо. Завтра опять к ней поеду. На этой неделе собралась приличная выручка: знать, весна уже задорит вас, старых козлов. Отвезу ей новое пальтишко. Из красной шерсти.

– О, красная шерсть – это последний крик моды, – сказал я.

Роза просияла.

– Какой ты джентльмен, Робби.

– Твоими бы устами да мед пить. Кстати, не выпить ли нам по одной? Тебе ведь анисовую?

Она кивнула. Мы чокнулись.

– Скажи-ка, Роза, а что, собственно, ты думаешь о любви? – спросил я. – Ведь ты в этих делах разбираешься.

Она рассмеялась звонким, раскатистым смехом.

– Ах, перестань, – сказала она, отсмеявшись. – Любовь! Хотя, конечно, и у меня был мой Артур... Как вспомню этого проходимца, так до сих пор чувствую слабость в коленках. Я вот что тебе скажу, Робби, если серьезно: человеческая жизнь слишком длинная для любви. Просто-напросто слишком длинная. Это мне мой Артур объяснил, когда удирал, на прощание. И это верно. Любовь – это чудо. Но для одного из двоих она всегда тянется слишком долго. А другой упрется как бык, и все ни с места. Вот и остается ни с чем – сколько бы ни упирался, хоть до потери пульса.

– Ясно, – сказал я. – Но и без любви человек – все равно что покойник в отпуске.

– А ты сделай как я, – сказала Роза. – Заведи себе ребенка. Вот и будет тебе кого любить и кем утешаться.

– Да уж, это идея! – засмеялся я. – Пожалуй, только этого мне не хватало.

Роза мечтательно покачала головой.

– Уж как меня, бывало, поколачивал мой Артур, а все равно – войди он сейчас сюда в своем котелке, эдак наискось сдвинутом на затылок... Милый ты мой! Да я вся трясусь, как только себе это представлю.

– Ну так давай выпьем за здоровье Артура.

Роза рассмеялась.

– Подлецу и юбочнику – долгие лета!

Мы выпили.

– До свидания, Роза. Желаю тебе побольше выручить сегодня вечером!

– Спасибо, Робби! До свидания!

Хлопнула дверь в подъезде.

– Хэлло, – сказала Патриция Хольман, – задумались?

– Ни о чем вовсе. А как вы поживаете? Выздоровели? Что с вами было?

– Пустяки, ничего особенного. Простудилась, поднялась немного температура.

Она вовсе не выглядела изнуренной болезнью. Напротив, ее глаза еще никогда не казались мне такими большими и сияющими, ее лицо покрывал легкий румянец, а движения были грациозны, как у гибкого, изящного животного.

– Выглядите вы великолепно, – сказал я. – Ни тени болезни! Мы можем наметить большую программу.

– Это было бы прекрасно, – сказала она. – Но сегодня, к сожалению, не получится. Сегодня я не могу.

Я уставился на нее, остолбенев.

– Не можете?

Она покачала головой:

– К сожалению.

Я все еще не мог ничего понять. Я решил, что она раздумала идти ко мне, но согласна пойти в другое место.

– Я звонила вам, – сказала она, – чтобы вы не приходили напрасно. Но вы уже ушли.

Наконец-то до меня дошло.

– Вы действительно не можете? У вас занят весь вечер? – спросил я.

– Сегодня да. Мне обязательно нужно в одно место. К сожалению, я узнала об этом всего полчаса назад.

– И вы не можете перенести это дело на другой день?

– Нет, не получится. – Она улыбнулась. – Это что-то вроде деловой встречи.

Меня словно стукнули по голове. Все, все я предусмотрел, но только не это. Я не верил ни одному ее слову. Деловая встреча! Нет, не такой у нее вид! Отговорка, по всей вероятности. В этом даже нет никаких сомнений. Какие могут быть вечером деловые переговоры? На это есть утренние часы! И за полчаса о таких вещах не сообщают. Просто ей расхотелось, вот и весь сказ.

Я был огорчен прямо-таки как ребенок. Только теперь я понял, насколько был рад предстоящему вечеру. Я был недоволен собой из-за того, что так огорчился, и мне не хотелось, чтобы она это заметила.

– Что ж, – сказал я, – коли так – ничего не поделаешь. До свидания.

Она испытующе посмотрела на меня.

– Ну, особой-то спешки нет. Я договорилась только на девять. Мы могли бы еще немного погулять. Я целую неделю не была на улице.

– Хорошо, – нехотя согласился я. Внезапно я почувствовал себя разбитым и опустошенным.

Мы пошли по улице. Вечернее небо прояснилось, и над крышами встали звезды. Мы шли вдоль газона, на котором темнело несколько кустов. Патриция Хольман остановилась.

– Сирень, – сказала она. – Пахнет сиренью.

– Я не чувствую никакого запаха, – возразил я.

– Ну как же! – Она склонилась над газоном.

– Это «дафне индика», сударыня, – раздался из темноты хриплый голос.

Там, прислонившись к дереву, стоял один из городских озеленителей в форменной фуражке с латунной кокардой. Слегка пошатываясь, он подошел к нам. Из его кармана высверкивало горлышко бутылки.

– Мы ее, слышь ты, сегодня высадили, – заявил он, прерывая свое сообщение сильнейшей икотой. – Тут она и есть.

– Да-да, спасибо, – сказала Патриция Хольман и, повернувшись ко мне, добавила: – Вы все еще не чувствуете никакого запаха?

– Нет, отчего же, – вяло возразил я. – Теперь я чувствую запах доброго пшеничного шнапса.

– Попадание – первый класс! – Человек в тени звучно рыгнул.

Я отчетливо различал густой сладковатый аромат цветения, растекавшийся по мягкому бархату ночи, но я бы ни за что на свете не признался в этом.

Девушка засмеялась и потянулась одними плечами.

– Ах, как это прекрасно, особенно для того, кто целую неделю проторчал дома. Как жаль, что надо уходить! Этот Биндинг – вечно он спешит, вечно сообщает обо всем в последний момент! Лучше бы он действительно перенес это на завтра!

– Биндинг? – переспросил я. – Вы договорились с Биндингом?

Она кивнула:

– С Биндингом и еще одним человеком. В этом-то человеке все дело. Серьезная деловая встреча. Представляете себе?

– Нет, – возразил я, – не представляю.

Она засмеялась и продолжала что-то говорить. Но я больше не слушал. Биндинг! Это имя прозвучало для меня как раскат грома. Я и думать не хотел о том, что она ведь знает его много дольше, чем меня, я только совершенно отчетливо и в каких-то преувеличенных размерах видел перед собой его сверкающий «бьюик», его дорогой костюм и его портмоне. Бедная моя, славная, изукрашенная берлога! И что это мне взбрело на ум! Лампа от Хассе, кресла от Залевски! Да эта девушка мне просто не пара! Кто я такой, в конце концов? Тротуарный шаркун, одолживший себе на вечер «кадиллак», жалкий пьянчужка – и ничего больше! Да такие шьются на каждом углу. Я уже видел, с каким подбострастием швейцар в «Лозе» приветствует Биндинга, видел светлые, теплые, великолепно обставленные помещения, утопающие в сигаретном дыму, видел элегантно одетых людей, небрежно расположившихся в них, слышал музыку и смех, смех надо мной. «Назад, – подумал я, – скорее назад! Что-то предчувствовать, на что-то надеяться – уже и это было смешно! Глупо предаваться таким иллюзиям. Так что только назад!»

– Мы могли бы встретиться завтра вечером, если хотите, – сказала Патриция Хольман.

– Завтра вечером у меня нет времени, – возразил я.

– Или послезавтра, или в какой-нибудь другой день на этой неделе. На ближайшие дни у меня нет никаких планов.

– Это будет трудно, – сказал я. – Сегодня мы получили срочный заказ, над которым придется работать всю неделю до поздней ночи.

Это был обман, но я не мог иначе. Столько во мне скопилось бешенства и стыда.

Мы пересекли площадь и пошли по улице вдоль кладбищенской ограды. Я увидел, как от «Интернационаля» навстречу нам движется Роза. Ее высокие сапоги сверкали. Я бы мог еще свернуть и в другое время так бы и сделал, но теперь я пошел прямо, ей навстречу. Роза скользнула взглядом мимо меня, как будто мы и в глаза друг друга не видели. Все это само собой разумелось: ни одна из этих девушек не узнавала на улице своих знакомых, если они были не одни.

– Привет, Роза, – сказал я.

Она озадаченно взглянула сначала на меня, потом на Патрицию Хольман, быстро кивнула и в полном смятении прошла мимо. Через несколько шагов после нее показалась Фрицци. С ярко намалеванными губами, она шла, помахивая сумочкой и вихляя бедрами. Она равнодушно смотрела сквозь меня, как сквозь стекло.

– Мое почтение, Фрицци, – сказал я.

Она наклонила голову, как королева, и ничем не выдала своего удивления; но я услышал, как каблучки ее застучали чаще, – она явно хотела обсудить происшедшее с Розой. Я все еще мог свернуть в переулок, ведь я знал, что сейчас появятся и остальные – как раз настал час первого большого обхода. Но я с каким-то особым упрямством решительно шагал им навстречу – почему я должен избегать тех, кого знаю намного лучше, чем девушку рядом со мной с ее Биндингом и его «бьюиком»? Пусть все видит, пусть насмотрится вдоволь.

Они проследовали все по длинному коридору под фонарями – и красавица Валли, бледная, стройная, элегантная, и Лина с ее протезом, и кряжистая Эрна, и цыпленочек Марион, и краснощекая Марго, и педераст Кики в женской шубке, и под конец старушка Мими с ее узло-

ватыми венами, похожая на общипанную сову. Я приветствовал их всех, а уж когда проходили мимо котла с сосисками, то я и вовсе от души потряс «мамашину» руку.

– У вас тут много знакомых, – немного погодя сказала Патриция Хольман.

– Таких, как эти, да, – ответил я, задираясь.

Я заметил, как она на меня посмотрела.

– По-моему, нам пора возвращаться, – сказала она через какое-то время.

– По-моему, тоже, – ответил я.

Мы подошли к ее подъезду.

– Прощайте, – сказал я, – и приятных вам развлечений сегодня вечером.

Она не ответила. Не без труда я оторвал взгляд от кнопки звонка на входной двери и посмотрел на нее. И не поверил своим глазам. Вот она стоит прямо передо мной, и никаких следов оскорбленности на лице – в чем я был уверен, но – ничуть не бывало, губы ее подрагивали, глаза мерцали огоньками, а там прорвался и смех – раскатистый, свободный. Она от души смеялась надо мной.

– Сущий ребенок! – сказала она. – Нет, какой же вы еще ребенок!

Я уставился на нее.

– Ну да... как-никак... – пролепетал я и наконец-то все понял. – Вы, наверное, считаете меня полным идиотом, не так ли?

Она смеялась. Я быстро шагнул к ней и крепко прижал к себе: будь что будет. Ее волосы касались моих щек, ее лицо было близко-близко, я чувствовал слабый персиковый запах ее кожи; потом ее глаза выросли перед моими, и я вдруг ощутил ее губы на своих губах...

Она исчезла, прежде чем я успел сообразить, что случилось.

Я побрел назад и подошел к «мамашинному» котлу с сосисками.

– Дай-ка мне штучку побольше, – сказал я, весь сияя.

– С горчицей? – спросила «мамаша». На ней был чистенький белый передник.

– Да уж, мамаш, горчицы давай побольше!

Я с наслаждением ел сардельку, запивая ее пивом, которое Алоис по моей просьбе вынес мне из «Интернационаля».

– Странное все-таки существо человек, мамаша, а?

– Да уж, это точно! – подхватила она с пылом. – Вот хоть вчера приходит тут один, съедает две венские сосиски с горчицей, а потом вдруг – нате вам, платить ему нечем. Ну, дело-то было позднее, кругом ни души, что ж я могу, не бежать же за ним. А сегодня, представь-ка, он является снова, платит сполна за вчерашнее да еще дает мне на чай.

– Ну, это тип еще довоенный, мамаша. А как вообще-то дела?

– Плохо! Вчера вот семь пар венских да девять сарделек. Знаешь, если б не девочки, я б давно разорилась.

Девочками она называла проституток, которые поддерживали ее как могли. Подцепив клиента, они по мере возможности старались затащить его к «мамашинному» котлу и раскошелить на сардельку-другую, чтобы «мамаша» могла хоть что-нибудь заработать.

– Теперь уж потеплеет скоро, – продолжала она, – а вот зимой, когда сыро да холодно... Тут уж напяливай на себя что хочешь, а все одно не убережешься.

– Дай-ка мне еще сардельку, – сказал я, – что-то меня сегодня распирает охота жить. А как дела дома?

Она взглянула на меня своими водянистыми маленькими глазками.

– Да все то же. Недавно вот кровать продал.

«Мамаша» была замужем. Лет десять назад ее муж, прыгая на ходу в поезд подземки, сорвался, и его переехало. В результате ему отняли обе ноги. Несчастье оказало на него странное действие. Он настолько стыдился перед женой своего вида, что перестал спать с ней. Кроме

того, в больнице он пристрастился к морфию. Это быстро потащило его на самое дно, он связался с гомосексуалистами, и теперь его можно было видеть только с мальчиками, хотя пятьдесят лет до этого он был нормальным мужчиной. Мужчин калека не стыдился. Ведь калекой он был только в глазах женщин, ему казалось, что он вызывает отвращение и жалость, и это было для него невыносимо. А для мужчин он оставался мужчиной, с которым случилось несчастье. Чтобы добыть деньги на мальчиков и морфий, он забирал у «мамаша» все, что только подворачивалось под руку, и продавал все, что только мог продать. Но «мамаша» держалась за него, хоть он ее частенько поколачивал. Она вместе с сыном каждую ночь до четырех стояла у своего котла. А днем стирала белье и скоблила лестницы. У нее был больной желудок, и весила она девяносто фунтов, но никто никогда не видел от нее ничего, кроме радушия и ласки. Она считала, что ей еще повезло в жизни. Иной раз муж, когда ему совсем уж становилось невмоготу, приходил к ней и плакал. И то были самые отрадные минуты ее жизни.

– А ты как? Держишься еще на своем таком хорошем месте?

– Да, мамаша. Я теперь зарабатываю неплохо.

– Смотри только, не потеряй его.

– Постараюсь, мамаша.

Я подошел к своему дому. У подъезда – вот уж Бог послал! – стояла служанка Фрида.

– Фрида, вы просто прелесть что за девочка, – сказал я, обуреваемый желанием творить добро.

Она сделала такое лицо, точнохватила уксусу.

– Да нет, я серьезно! – продолжал я. – Ну какой смысл вечно ссориться! Жизнь коротка, Фрида, и полна самых опасных случайностей. В наше время надо держаться друг друга. Давайте жить дружно!

Она даже не взглянула на мою протянутую руку, пробормотала что-то о проклятых пьянчужках и скрылась в подъезде, громыхнув дверью.

Я постучал к Георгу Блоку, из-под его двери пробивалась полоска света. Он зубрил.

– Пойдем, Георгий, пожжем, – сказал я.

Он поднял на меня глаза. Бледное лицо его порозовело.

– Я сыт.

Он решил, что я предлагаю ему из жалости, поэтому и отказался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.